

Басад

Автор:

Ян Росс

Басад

Ян Росс

Жесткий, пронзительно искренний роман декларирует немодные ныне истины, моральные ценности и поднимает актуальную тему имитации науки. Главный герой – начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории и вступает в конфликт с истеблишментом. Академическая иерархия предстает гигантским проржавленным механизмом, шестерни которого перемалывают сами себя и все встающее на их пути. В первую очередь – людей, решивших посвятить жизнь науке. Автор саркастически описывает будни молодых ученых, их душевные метания и столкновение высоких стремлений с суровой реальностью. Они вынуждены либо приспособливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва – лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить. ...Нечто гораздо большее, чем дерзкий памфлет на постбуржуазную мораль, не оставит равнодушным чуткого читателя. Содержит нецензурную брань.

Ян Росс

Басад

Информация

Посвящается моим родителям

ISBN 978-5-9909643-5-8

Сайт автора: yanross.net (<http://yanross.net/>)

С Божьей помощью

В беллетристике считается правильной стратегией использовать любые уловки для нагнетания сюжетного напряжения. Исходя из этого, стоило бы держать в тайне значение слова “басад” хотя бы пару десятков страниц или до второй половины романа, а то и вовсе беречь этот секрет до самого конца. Но загадывать загадки для подогрева читательского интереса не входит в мои планы, а сюжет и его нагнетание...

Не в них дело, и в том числе вот почему: количество различных сюжетных ситуаций ограничено. И ограничено на удивление малым числом.

Некий Жорж Польти, опираясь на утверждение писателя и философа Гете, в 1895 году издал книгу под названием “Тридцать шесть драматических ситуаций”. Шиллер (кстати, тоже философ и драматург) пытался опровергнуть это утверждение, но не смог выдумать и тридцати. Впрочем, суть не в том, сколько именно разнообразных коллизий родила литература и драматургия, а в том, что их палитра скудна. И все, абсолютно все сюжеты выкраиваются из довольно скромного числа ключевых ситуаций.

Для сравнения, в конструкторы для детей младшего дошкольного возраста входят десятки деталей, а для семи-восемилетних количество деталей исчисляется сотнями и тысячами. Следовательно, ребенок с обычным конструктором располагает куда большим простором для творчества, чем раскрывает перед писателем весь сюжетный арсенал мировой словесности. Вывод о нелепости чрезмерных потуг на сюжетные ухищрения напрашивается сам собой.

Теперь, закончив с нападками на классические литературные каноны, приступим к самому повествованию.

Итак, первое, что я узнал, поступив в аспирантуру, – это значение слова “басад”. Басад (ударение на второй слог) – это аббревиатура выражения “с Божьей помощью”. Даже не сама аббревиатура, а ее произношение. Прежде чем что-либо написать, религиозный еврей выводит это свое “басад” в верхнем правом углу листа, и только потом, уже не просто так и не сам по себе, а с Божьей помощью, принимается за текст.

Мой научный руководитель, как и многие в Израиле, религиозный еврей. Стремясь исполнять заповеди и традиции, он штампует “басад” не только на разных листах, документах и электронных письмах, но и где ни попадя. И по этому восхитительному поводу наша лаборатория вся сплошь – “с Божьей помощью”. Компьютер, точнее – компьютеры, все как один в наклейках “с Божьей помощью”, с Божьей помощью мониторы, клавиатуры, мышки, осциллограф, пульсовый генератор и даже с Божьей помощью химическая магнитная мешалка.

Я набираю раствор наночастиц из пробирок, на которых красуются надписи “с Божьей помощью”. Засовываю в “с Божьей помощью” микроволновку, где они, видимо, с той же помощью разогреваются. Тщательно измеряю температуру, естественно, не без Божьей помощи, оптическим зондом. И лишь затем самостоятельно и уже без всякой Божьей помощи произвожу расчеты своими собственными скриптами.

Да и сам профессор, куда не ткни, со всех сторон “басад”. Перед обедом – ритуальное омовение рук. В иудаизме считается, что во время сна душа покидает тело, и оно оказывается во власти духов скверны. При пробуждении духи немедленно исчезают, задерживаясь исключительно на кистях рук. И руки остаются нечистыми до тех пор, пока их не омоют надлежащим образом из специальной чаши с двумя ручками – дабы чистое не соприкасалось с нечистым.

С этим более или менее ясно – эзотерическая аргументация азов гигиены эпохи пращура Моисея. Однако по неизвестной причине между моментом очищения от скверны и началом трапезы категорически запрещается разговаривать. Пару раз я встречал профессора Басада, которого на самом деле зовут Шмуэль, в этот ответственный промежуток времени и пытался поздороваться или что-то сообщить. А он только выпучивал глаза и изображал нечто пантомимой. Позже он пояснил суть и происхождение ритуала, но я так и не уловил, как именно молчание связано со скверной и с духами. Забавное правило: вымыл руки – закрой рот.

После обеда – непременно посещение синагоги и молитва, которую я со временем прозвал медитацией. По ее окончании Шмуэль склонен забредать в лабораторию и цитировать Тору. Я ему о результатах экспериментов и их интерпретации, а он давай сопоставлять все это со Священным Писанием. Стоит, благодушно улыбается и поглаживает округлившийся живот, будто манны небесной объелся. В такие минуты профессор Басад благолепен до неприличия. Разве что сияние не испускает.

К этому профессору и в нанотехнологии меня занесло довольно случайно. Дописав свой первый роман, я погрузился в какое-то странное оцепенение, онемение всех чувств, всепоглощающую опустошенность. Мой психоаналитик Рут даже сравнила это с послеродовой депрессией. То есть, нет – сама книга еще не родилась и требовала множество разнообразных усилий. Хочешь не хочешь, приходилось вставать, идти, делать. Процесс двигался отнюдь не гладко, отнимал массу времени, нервов, но именно это и создавало вовлеченность, заполняя внутреннюю пустоту и разгоняя тоску.

Первым делом пришлось озаботиться самой жгучей для начинающего писателя проблемой – поиском способа публикации. Обращаться в издательства, со всеми вытекающими мытарствами, оказалось крайне изнурительно. Я неоднократно писал, чаще всего не получая ответа. Я звонил, мне вежливо говорили: “Высылайте рукопись”, а потом игнорировали; или, явно не слишком вникая, отделялись стандартным отказом по причинам финансового кризиса, несоответствия жанра, иностранного гражданства, недостаточной патриотичности тематики и т.п.

Несколько предложений все же поступило, но за ними угадывалось нещадное кромсание текста. Ножницы пугали сильнее всего. Ведь каждое слово было либо вспышкой некоего озарения, либо выстрадано и сотни раз взвешено на весах совести и, какого ни есть, таланта. Позволить кому-то перекраивать плоды этих прозрений и кропотливых балансировок казалось невыносимым. Однако попутно выяснилось, что в эру электронных книг многие, и в том числе признанные авторы, предпочитают издаваться самостоятельно. Это окрыляло, и почти сразу с головокружительной легкостью нашелся редактор.

Общение с бездушным и беспощадным аппаратом книгоиздания прекратилось, и начался долгий и болезненный процесс редактуры. Несмотря на взаимную симпатию и некую близость духа, мне порой хотелось прибить этого редактора. Наша совместная работа, о которой я подробнее расскажу позже, сперва выглядела довольно сумбурно, зато чрезвычайно эмоционально и насыщенно. Думаю, я сводил его с ума не меньше, чем он меня.

Потом предстояла еще масса этапов: корректура, создание электронной книги, сайт, продвижение... Но это было уже совсем не то. Пропала насыщенная смесь радости и муки творения. Я обслуживал превращение текста в продукт, а не “творил”, что бы это претенциозное понятие ни означало.

Однако имелись и насущные дела, требующие внимания. Пришло время задуматься о будущем. В нем мне грезилась модель существования, которая позволила бы писательствовать, не заморачиваясь вопросом извлечения из этого

прибыли, и заниматься еще какой-нибудь не слишком обременительной деятельностью, приносящей скромный доход.

Последние годы я подрабатывал лектором в колледжах, где убедился, что за преподавание платят такие копейки, что вся прелесть частичной занятости пропадает. Чтобы сводить концы с концами, приходится стоять у доски каждый день чуть ли не полную смену. А идти в какую-то солидную компанию – обратно в общество запрограммированных на так называемый успех корпоративных служащих – никак не вязалось с фантазией о жизни свободного художника.

Да и расставаться с преподаванием не хотелось, тем более что имелся выход. Можно было существенно повысить почасовую оплату, обзаведясь докторской корочкой. Мечту стать выдающимся ученым я давно не пестовал, перспектива академической карьеры меня не грела, но учеба всегда давалась легко. К тому же я успел поработать по специальности и набраться опыта, так что защитить диссертацию в моей или какой-либо смежной области без особых запросов на великие открытия не представлялось большой проблемой.

Тогда ситуация в корне менялась – можно было бы преподавать по несколько часов в день, а в остальное время писать, и еще... что именно еще, я пока не придумал, но немного работать и немного писать, а не возвращаться к оголтелому образу существования, где в будни я пахал до изнеможения, а в выходные пытался наспех пожить “полной” жизнью и отоспаться.

Картина будущего представлялась идиллической. Во-первых, преподавание мне всегда нравилось – стоишь, разглагольствуешь, а все сидят, смотрят снизу вверх и внимательно слушают. Что может быть более привлекательным для самовлюбленного пижона вроде меня? Во-вторых – масса свободного времени. И в-третьих, сам путь достижения этой идиллии не предполагал существенного компромисса.

Если найти вменяемого научного руководителя, можно провести период аспирантуры в не слишком требовательной институтской атмосфере, где будет вдоволь личного времени, и заодно сразу начать преподавать. И преподавать в моем родном институте любознательным и прилежным студентам, а не в зоопарке колледжей, где приходилось разжевывать элементарные вещи и заниматься дисциплиной.

Но ключом к райским вратам оставался удачный выбор научного руководителя. Дело в том... следующее утверждение может показаться слишком резким и необоснованным, хотя оно не так уж маргинально, да и под шелест этих страниц... то есть под их электронное мерцание, вы сможете составить свое собственное мнение по данному вопросу. Так вот, дело в том, что академическая среда устроена наподобие гильдии в феодальном обществе. Как только попадаешь туда в качестве аспиранта, твоя судьба целиком и полностью в руках научного руководителя. Если что-то пошло наперекосяк, нельзя уволиться и перейти к другому. Нет официального контракта, как в коммерческой компании, которая обязана платить определенную зарплату и соблюдать заранее оговоренные условия.

Научный руководитель каждые полгода единолично, по собственному усмотрению и без каких-либо четких критериев пишет характеристику, и если она неудовлетворительна – снижают, а то и вовсе аннулируют стипендию.

Или профессор может не дать вовремя защитить диссертацию и оставить полезного для себя студента еще, к примеру, на год. Без всякой дополнительной субсидии – просто бесплатно вкалывать. Или – может не дать защититься вообще. Сверх того, стипендия – это не зарплата. Зарплату получил, и ее уже нельзя потребовать обратно. А стипендия, во всяком случае, у нас, обусловлена будущим успешным окончанием аспирантуры. И... если кому-то совсем не повезло, этот кто-то может оказаться в ситуации, где будет обязан вернуть все обратно. Весь свой доход за, скажем, последние четыре года.

В общем, как говорилось выше, аспирант полностью зависит от желаний и прихотей своего научного руководителя. При этом ни у кого нет никаких

рычагов воздействия на профессора. Его должность пожизненная, и даже декан или ректор не могут оспорить его решение. И в случае произвола защиты искать попросту не у кого.

Аспирант фактически является крепостным своего научного руководителя. Разумеется, не в том смысле, что его секут розгами на конюшне. И это, естественно, не значит, что все профессора непременно злоупотребляют своим положением. Однако даже самым порядочным и достойным людям крайне сложно бороться с искушением почти безграничной власти. Поэтому выбор руководителя и отношения с ним архиважны для успешного завершения и комфортного существования во время учебы.

К слову, был такой Тед Стрелецкий – аспирант кафедры математики Стэнфордского университета, которого всячески притеснял и третировал научный руководитель. Тед терпел, терпел, но на девятнадцатом году... простите, я обязан подчеркнуть, на 19-ом году тщетных попыток получить добро на защиту диссертации его терпение лопнуло. Тед взял слесарный молоток и убил своего профессора. Затем пошел, сдался полиции и на допросе заявил, что его поступок правомерен, так как не является превышением пределов допустимой самообороны.

Эти сведения можно почерпнуть из краткой статьи в Википедии, однако, если копнуть глубже, проступает еще более рельефная картина: восемь лет Тед Стрелецкий планировал свое возмездие. “Суть была в том, чтобы добиться общественного резонанса, – пояснил он. – Я рассматривал и иные альтернативы. Взвешивал обращение к выпускникам и студентам. Обдумывал возможности вандализма или огласки в СМИ”. Последний вариант он отклонил как непрактичный. “Телевидение и средства массовой информации не интересуются проблемами аспирантов, зато охотно освещают убийства”.

В определенной логике Теду не откажешь, в последовательности – тоже. В ходе суда он вежливо и терпеливо продолжал настаивать на том, что его поступок логичен, морально оправдан и является актом гражданского протеста против отношения факультета к аспирантам. Вопреки советам адвокатов Тед отклонил

формулировку “невиновен по причине безумия” и заявил, что он объективно невиновен. Без всяких “но” и “по причине”.

В итоге присяжные все же сочли его не вполне вменяемым и признали виновным в непредумышленном убийстве. Теда уперли на семь лет. Во время заключения ему было трижды предложено досрочное освобождение, но он раз за разом принципиально отказывался из-за сопутствующего запрета появляться на территории Стэнфордского кампуса. “Я чувствую сожаление, но не угрызения совести, – сказал он. – Сожалея, вы признаете трагические последствия, но если снова придется делать выбор, поступите точно так же”.

Освободившись, как и намеревался, и с тем же вежливым и невозмутимым спокойствием, Тед продолжил борьбу против деспотизма в академической среде. История вновь получила огласку, но Стэнфордский университет отказался от участия в публичных дебатах, надеясь, что шумиха утихнет сама собой и акция протеста сойдет на нет.

Итак, мы говорили об исключительной важности выбора научного руководителя. Аспирантуру хотелось бы завершить успешной и своевременной защитой, а не проламыванием черепов подручными инструментами. Почти полгода я посвятил рассмотрению разных альтернатив и в результате остановился на профессоре Басаде. Но прежде чем принять окончательное решение, целое лето проработал у него на добровольных началах, чтобы присмотреться ко всему изнутри.

В этот период мы ладили как нельзя лучше, и у меня сформировались следующие соображения: во-первых, Шмуэль вечно пребывает в состоянии благостной полуспячки и, вероятно, не станет предъявлять заоблачные требования или стоять у меня над душой и следить за каждым шагом. Во-вторых, профессор Басад, как правило, появляется на факультете всего четыре дня в неделю, а в четверг[1 - Рабочая неделя в Израиле начинается в воскресенье и заканчивается в четверг.] работает из дома. И в-третьих, он ревностно соблюдает все официальные и неофициальные религиозные праздники и тоже остается дома. А у евреев этих праздников, полупраздников и прочих особых дней – тьма тьмущая.

Кроме того, профессор Басад считается ведущим экспертом нашего института в компьютерном моделировании – есть такой раздел прикладной математики, который, очень кстати, является и моей основной специализацией. Так сложилось, что мы временно вынуждены заниматься наночастицами, но вскоре мое прозябание в лаборатории закончится, я вернусь в зону комфорта и смогу целиком погрузиться в любимое дело.

А пока я с головой в нанотехнологиях, в которых почти ничего не смыслю. Шмуэль, как постепенно выясняется, тоже. И если со знаниями у нас туговато, то с аппаратурой для подобных исследований дела обстоят еще хуже. Мой основной прибор – кухонная микроволновка. Так что рассчитывать нам особо не на что. Кроме, конечно, той самой Божьей помощи – единственное, в чем наша лаборатория не испытывает недостатка.

Во всем остальном мы предельно ограничены. Для любого самого мелкого шага нужно оборудование, нужны эти чертовы наночастицы, которые, пусть и маленькие, стоят ошеломительно дорого. А с финансированием в науке, за редкими исключениями, катастрофически плохо.

Как только я разберусь, что к чему, мне доверят святая святых – доступ к бюджету лаборатории. И на эти крохи можно будет заказать пару миллилитров раствора наночастиц. Но пока меня еще не пускают играть с большими ребятами, и я упражняюсь в песочнице. Мне отдают использованные в других опытах образцы из контейнера с надписью “Химический мусор”, и с ними, молитвами профессора Басада и ниспосланным ему Божественным вспомоществованием, я пытаюсь воплощать наши наполеоновские замыслы.

На днях всучили очередную баночку, хранимую уже года два, потому что эти наночастицы надо утилизировать особым образом, а руки до этого не доходят. Наночастицы токсичны и, по видимости, являются канцерогенами. Но толком никто ничего не знает, так как они только-только стали популярны и пока малоизучены. Так вот, эта баночка, как и многие предыдущие, сопровождалась

историей, описывающей злоключения ее содержимого. В ходе прежних экспериментов наночастицы разлились на пол, были собраны и закупорены вместе с пылью и мусором. Пыли и мусора в этой мутной неоднородной смеси вполне могло быть гораздо больше, чем самих частиц. Плюс с тех пор все кисло вне холодильника. Но тут появился я, и настал звездный час этого неведомого вещества.

Как источник облучения используется старая микроволновка, в верхней стенке которой я просверлил дырку для оптического термозонда. Настройки моего супер-излучателя более или менее ограничиваются функцией “вкл/выкл”. Измерить интенсивность электромагнитного поля внутри микроволновки мне нечем, а оно крайне неоднородно – стоит чуть сдвинуть пробирки с образцами, и результаты кардинально меняются. Вероятно, именно из-за этой неконсистентности, вопреки всем стараниям, пока ничего не клеится. Но, принимая во внимание мой более чем скромный опыт, качество и объем выборки недостаточны для однозначных заключений.

Так что без Божьей помощи нам никак. Остается надеяться, что помощь Всевышнего компенсирует отсутствие аппаратуры, и главное – наше вопиющее дилетантство.[2 - Господин Редактор советует добавить в конце этого фрагмента некий “крючок” для зацепки и удержания читательского внимания, потому что в XXI веке у людей нет ни терпения, ни времени. В этом смысле Редактор, бесспорно, прав, однако чтение этого романа – дело добровольное.]

Дружба, музыка и воровство

Вы еще тут? Прекрасно. Поехали!

Моего первого друга в Израиле звали Артем Резник. Впоследствии мы вместе учились в школе и тусовались в одной компании. Его отчим был алкоголиком, время от времени лупившим свою жену и вступавшегося за мать Артема. С годами Тема подрос, окреп и стал отправлять отчима протрезвляться в

реанимацию.

А когда нам было по двенадцать лет, он убегал из дома, и я получал возможность, во-первых, участвовать в его приключениях, а во-вторых, со свойственным мне уже тогда нарциссизмом, наслаждаться тем, что помогаю другу в беде. Помощь товарищу – это святое. В те годы я зачитывался Ремарком, идеализировал концепцию дружбы и имел преувеличенное представление о собственной роли в жизни тогдашних приятелей.

Из наших совместных походов больше всего мне нравилось воровать. Никакой насущной потребности в воровстве я не испытывал – рос в благополучной семье, родители (зачастую чрезмерно) обо мне заботились, и я не ведал ни в чем нужды. А дружба с Резником вносила разнообразие в эту удручающе идиллическую картину.

Воровали мы изобретательно и с душой. Я любил планировать и осуществлять, а финансовая сторона меня не интересовала. Сбывал наши трофеи Артем, и он же отдавал мне часть выручки. Своей доли мне хватало с лихвой, а ему эти деньги были по-настоящему нужны.

В воровстве идеально сочетались риск, азарт, и главное – вызов благопристойному и скучному миру взрослых. Одной из наиболее удачных схем была следующая: мы выбирали дорогой, скажем, спортивный, магазин. Сетевой, не маленькую лавку. Кодекс Робин Гуда – грабить богатых можно и даже нужно. Заходили порознь. Первый присматривался, например, к теннисным ракеткам. Снимал чехлы, разглядывал. Потом, будто в рассеянности, менял чехол дорогой ракетки на чехол одной из самых дешевых и наиболее покупаемых. Штрихкоды и ценники в этой стране непуганых идиотов почему-то клеились исключительно на чехлы.

Дальше – раз плюнуть. Второй брал ракетку с подмененным чехлом, нес в кассу и чинно покупал дорогий товар по дешевке. Схема работала идеально, риск

был минимален, а краденый спортивный инвентарь удавалось сплавлять где-то за треть цены. Неплохой навар за полчаса чистого удовольствия. То же самое, но чуть менее изящно, мы проделывали, переклеивая ценники с дешевых вещей на дорогие.

Впрочем, воровать я начал гораздо раньше. Без кодекса чести, да и без азарта и куража. Еще в Советском Союзе. Тогда, подобно большинству отпрысков интеллигентных еврейских семей, я был добровольно-принудительно записан в музыкальную школу. Мне крайне повезло: на скрипке уже играл младший брат – оплот маминых чаяний взрастить небывалого виртуоза, поэтому на мою долю выпала флейта, да и то – без ожидания непременных подвигов и великих свершений. Но счастье, как водится, длилось недолго. Дворовые пацаны быстро растолковали, что флейта, которую зачастую путали с дудкой, – это совсем не круто. Круто – это гитара или, на худой конец, барабаны.

Я до сих пор помню пальцы с ороговевшими ногтями, лысину со старческими пигментными пятнами и дрожащие слюнявые губы учителя, отбиравшего у меня инструмент, чтобы продемонстрировать, как правильно “дудеть”. Когда он отдавал мне эту заплеванную железяку, от брезгливости я уже не мог сосредоточиться на замечаниях, а думал только о влажных пятнах и пузырьках его слюны на дульце.

Однако музицированию сопутствовали и положительные моменты. Например – тир. Тир находился в одной остановке до музыкалки. Днем я крал мелочь из карманов верхней одежды, оставленной на хранении в вестибюлях больших учреждений, куда пробирался, рассказывая гардеробщицам липовые истории. Скажем, о том, как моя мать буквально недавно и именно в этом гардеробе потеряла ключи, кошелек или еще что-нибудь. “Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя...” мамы. Моей мамы! Я был прилично одет и глядел на них честными голубыми глазами, старательно скрывая, что трушу, потею и нервничаю. Мне было стыдно и страшно. Но так как на противостояние реальности с поднятым забралом я пока не осмеливался, то бунтовал как мог – скрытно, тайком.

Когда денег накапливалось достаточно, я выходил на остановку раньше и час напролет стрелял из пневматического ружья в ветхом, почти заброшенном тире. И был до опьянения счастлив.

Из моих музыкальных занятий ничего толкового так и не вышло. Повзрослев и научившись перечить родителям, я бросил дудение на флейте. Единственным долгосрочным последствием музыкальных экзерсисов стало отвращение к классической музыке. Мой братик с его ежедневными многочасовыми скрипичными заплатами тоже внес посильную лепту, и понадобилось лет пятнадцать, чтобы я вновь смог слушать классику без содрогания.

Зато умение стрелять пригодилось во время службы в израильской армии. Я был лучшим стрелком роты, прошел курс снайперов и получил пару наград, которыми страшно гордился. Правда, в армии я также не задержался. Как только командование стало гладить меня против шерсти, задался целью и откосил, отсидев три незабываемых месяца в психушке.

И вот что странно: как воровал с Резником, я помню ярко и отчетливо, а как служил – не помню почти совсем.

Статьи и гранты

Сила науки – в смелости и готовности признавать свое невежество.

Юваль Ной Харари

На днях в рамках междисциплинарного сотрудничества мы встречались с молодым профессором с факультета нанотехнологий. Инициатором этой затеи был я. Излишнее рвение часто толкает на опрометчивые поступки, напоминая,

что каждый сам зодчий своего персонального ада.

Я всего-навсего хотел получить немного углеродных нанотрубок, которые производятся в лаборатории молодого профессора чуть ли не в промышленных объемах. Это представлялось мне примерно так: прихожу, беру склянку с наночастицами, благодарю и ухожу. Но, как водится, бесплатный сыр бывает либо в мышеловке, либо поблизости непременно околачивается какая-нибудь плутоватая лисица.

Все пошло наперекосяк с первого же шага – извещения начальства о моих намерениях. Шмуэль[3 - Во время редакции разразился спор о том, нужно ли напоминать, что Шмуэль – это имя научного руководителя, и что Шмуэль и профессор Басад – одно и то же лицо. Господин Редактор считает необходимым напоминать и про имя, и про то, что басад – это “с Божьей помощью”, и именно поэтому научный руководитель прозван профессором Басадом.] усмотрел в этой встрече некий политический подтекст и навязался туда вместе со мной. И вот я сижу и глазею, как два профессора, словно павлины, самозабвенно распускают друг перед другом метафорические хвосты.

Молодой поминутно вскакивает и принимается метаться по кабинету, вместо хвоста воодушевленно взмахивая верхними конечностями. После каждой третьей реплики он замирает, пораженный величиим собственной мысли, и, победоносно ткнув пальцем в потолок, провозглашает: “Это гениальная идея!” Затем делает предостерегающий жест, призывая не двигаться, чтобы не спугнуть вдохновение, выхватывает тетрадь и наспех конспектирует свежеиспеченное прозрение.

Минут через десять выясняется, что таких тетрадей у него две. Одна – для рядовых гениальных идей, а вторая – для сверхгениальных. Шмуэль из вежливости тоже достаивается нескольких записей в первую тетрадь. Я на подобные почести не претендую и, скромно помалкивая, рисую в уме картину воздвижения на центральной площади технионовского[4 - Технион – Технологический институт Израиля.] кампуса конного памятника сего молодого ученого мужа в треуголке и смирительной рубашке.

– Я уже вижу, как будет выглядеть твоя диссертация! – внезапно объявляет он, присвоив себе очередную Нобелевскую премию и наткнувшись на меня фосфоресцирующим самодовольством взором.

Я аж закашлялся от такого хамства. Он, значит, уже решил припахать меня к своему проекту?! За какую-то склянку с парой миллилитров раствора наночастиц?!

Даже не знаю, что возмущало больше – непомерная прыть или зашкаливающий градус корыстолюбия. Я мысленно выматерился и поклялся приложить все усилия, чтобы отделаться от этого охотника за легкой наживой как можно скорее.

Приняв решение, я отвлекся и задумался об этой манере швыряться “гениальными” идеями. Подобный образ мышления и самооценки вполне типичен для среднестатистического профессора. Правда, обычно недуг ослепления собственной конгениальностью проявляется не в столь острой форме и больше смахивает на хроническое вялотекущее заболевание.

Эти недо-сверхчеловеки (я имею в виду подавляющее большинство профессоров) пребывают в иллюзии, что каждым мыслительным порывом способны творить величайшие научные открытия. Им кажется, что космос, вся вселенная, внемлет им и отзывается, нашептывая сокровенные ответы.

Едет на службу этакий недо-сверхтитан научной мысли и видит, скажем, трещину на асфальте. И эта трещина каким-то непостижимым образом задевает в нем некую струну. Внутри недо-сверхтитана все переворачивается, и разверзаются небеса.

И кранты. Начинается рецидив научной диареи. По прибытии он рвется отыскать отголосок этой снизошедшей с небес божественной трещины у себя в лаборатории. Зачастую наперекор базисным законам физики и вопреки всякому здравому смыслу.

Вот и бесподобный профессор Басад является как-то утром и принимается пилить меня Рэлеевским рассеянием. Он, видите ли, буквально четверть часа назад, стоя в пробке, любовался на небо и вспомнил, как где-то когда-то вычитал, что лорд Рэлей первым додумался, почему небо голубое[5 - Британский физик лорд Джон Рэлей в 1871 году установил, что интенсивность рассеяния света зависит от длины волны. Не будь рассеяния, небо выглядело бы днем точно так же, как и ночью, а солнце – ослепительно ярким белым пятном. Но из-за неоднородной плотности воздуха происходит рассеяние, и синий (коротковолновый) свет рассеивается гораздо сильнее других цветов и придает небу голубой оттенок.].

– И это так здорово, – восторженно фонтанирует он, – и почему бы нам не обнаружить это явление в наших наночастицах?!

И вправду, почему? Давайте на секунду представим масштаб атмосферной оболочки земного шара, в которой происходит преломление солнечных лучей, и наночастицу. Нано!!! То есть частицу размером в несколько десятков миллиардных метра. Соотношение масштабов один к тысяче миллиардов! При такой разнице акцент смещается на совсем иные физические явления. Как-никак, одно больше другого в триллион раз! Может из-за этого триллиона?! Но нет, нет! Моего научного руководителя не смущают ни миллиарды, ни триллионы.

Настоящего профессора не остановят ни законы природы, ни результаты каких-либо экспериментов. Современный ученый не позволит таким незначительным мелочам препятствовать продвижению научного исследования в любом избранном от балды направлении.

В пароксизме научного сумасбродства Шмуэль утюжил меня Рэлеевским рассеянием недели три. Никакие доводы не помогали. Пришлось симулировать бурную исследовательскую деятельность вокруг этого рассеяния, будь оно неладно, а втихаря работать над подготовкой давно запланированных опытов, напрямую связанных с моей диссертацией.

Однако Шмуэль не унимался. И под конец я понял... В таких вопросах я туго соображаю. Воспринимаю все слишком буквально... Мне казалось, что в случае невозможности получить желаемые результаты, остается лишь создавать видимость деятельности, терпеливо ожидая, пока начальство одумается. А надо было не деятельность симулировать, а сделать вид, что есть результаты.

– Вы правы, Шмуэль, – покорно доложил я. – Рэлеевское рассеяние, действительно, есть. Но его влияние незначительно. И вся эта история с рассеянием в большей степени относится к изготовлению наночастиц, нежели к их применению.

Шмуэль пригорюнился, заботливо круговыми движениями огладил живот, как-бы прислушиваясь к голосу чрева... И неожиданно впал в диаметрально противоположную крайность помрачения рассудка.

– Зазорно тратить время на пустяки! – безапелляционно бухнул профессор Басад и разразился наставительной речью о важности отделения зерен от плевел, только в иудейских формулировках, с цветастыми цитатами из Торы и Талмуда[6 - Талмуд – основное собрание религиозно-этических положений иудаизма, возникшее вследствие канонизации и фиксации Устной Торы.].

Исчерпав красноречие, он обмяк, черты его лица потеряли резкость, он снова огладил пузо и побрел ритуально омывть руки, кошерно обедать и совершать дежурную медитацию в синагоге. А эпопея с лордом Рэлеем была на этом закончена и забыта.

Однако вернемся к молодому профессору – нашему новоявленному Нобелевскому лауреату, который продолжает пузыриться феноменальными измышлениями и искрить новомодными терминами. Его потуги не пропали даром, и одна из выпущенных наудачу стрел случайно угодила в цель – в размягченный псевдонаучным словоблудием мозг профессора Басада. И все. Наступает умопомрачение. Шмуэль, как дурень в погремушку, вцепляется в слово “плазмон” – термин из квантовой физики, никак не относящийся к области наших, с позволения сказать, научных изысканий.

Не будем на этом останавливаться. Поверьте: что такое плазмон, не интересно даже самому Шмуэлю. Ему просто слово понравилось. Остается надеяться, что профессор Басад вскоре забудет про плазмон и не станет превращать его в тему для очередной арии из той же оперы, как Рэлеевское рассеяние.

Да и о каком плазмоне или любом другом квантовом эффекте может идти речь, когда все, что у нас есть в качестве аппаратуры – это кухонная микроволновка и термометр?! Впрочем, прошу прощения, я обещал на этом не заикливаться.

Натрындившись о злосчастном плазмоне, профессор Басад откинулся в кресле, томно воззрившись в призрачную бесконечность и, налюбовавшись ею, внезапно прервал возобновившийся каскад гениальных прозрений молодого профессора:

– Знаете, – он обвел нас затуманенным взглядом, – оглядываясь назад, я порой думаю... – Шмуэля потянуло на откровения. – Положим, ну, написал я восемьдесят статей, – он медленно и шумно выпустил воздух из легких, – но вот что я по-настоящему сделал для науки? Для вечности?

Рецидивы хандры по вечности случаются у профессора Басада примерно раз в месяц и, за исключением редких обострений вроде Рэлеевского рассеяния, бесследно рассасываются спустя час-другой.

– Да... И зачем пишутся все эти бессмысленные статьи? – протянул молодой профессор, спеша угодить старшему коллеге.

И тут на меня накатило. То ли запредельная пафосность, то ли эта дутая задушевность, ставшая последней каплей...

– Как зачем? – ляпнул я. – Человек публикует статью, а его, как водится, никто не цитирует. – Молодой профессор нелепо дернулся, будто поправляя съехавшую набок треуголку. Это меня раззадорило: – Он не сдается, строчит еще статейку и цитирует сам себя. Но и на вторую не ссылаются. Тогда он берется за третью. Эм... – я наиграно пожал плечами, мол, я тут ни при чем, всего лишь констатирую факты. – Вот и весь секрет вечного двигателя научной публицистики.

Молодой профессор покосился на меня и уязвленно нахохлился, а Шмуэль, все еще витавший в грезах, пропустил этот пассаж мимо ушей.

А теперь суммируем весь этот разрозненный бред и выведем общую закономерность. В академической системе ценностей существуют всего две координаты: публикации и гранты. “Понты и бабки” в терминологии моего друга Дорона, который, кстати, тоже доктор наук.

Публикации – их количество и совокупное “качество”: цитируемость, престижность журналов и тому подобное – определяют некий удельный академический вес профессора. За редким исключением, после того как человек стал профессором, он своими белыми ручками никакие статьи уже не пишет, а подписывается под публикациями аспирантов, частенько даже не вникая в детали. Таким образом, чем больше профессор набрал аспирантов и магистрантов, и чем больше из них выжал, тем выше он поднимется в глазах таких же шарлатанов от науки, как и он сам.

Гранты. Гранты – это субсидии на проведение научных изысканий. Каждый амбициозный профессор все свободное от выжимания и подписывания время посвящает добыче грантов. Эта хроническая золотая лихорадка преследует его неотступно.

Он в горячем угаре рыщет по интернету, летает на конференции, мечется по отупляюще занудным и зачастую абсолютно непонятным ему семинарам, пытаюсь разнюхать, что сегодня, а еще лучше, завтра – модно, “клево” и “прокатит”. Профессор, листаящий журнал “Nature” или, скажем, “Science”, подобен светской львице со свежим номером “Vogue” или “Cosmopolitan”. Тогда как она в своей фантазии облачается в новые удивительные наряды, его лихорадит от предвкушения, как он изысканно приукрасит свое резюме, и сколько бабок под это удастся выклянчить или выжать.

Аналогию усиливает тот факт, что подавляющее число статей в элитной “научной” периодике, как и журналы известного толка, кроме сочных гляцевых картинок, не содержат никакой существенной смысловой нагрузки. И единственная информация, связанная с наукой, которую можно из них почерпнуть, – это что сегодня популярно, и за что сегодня и, возможно, завтра будут отваливать жирные гонорары.

Допустим, такое положение приемлемо и правомерно в индустрии в условиях свободного рынка. Но академическая среда, представляющая авангард научной мысли, должна быть избавлена от потребности считаться и с переменчивыми веяниями моды, и с коммерческими трендами. А пока она больше смахивает на шутовской балаган, угодливо отплясывающий под дудку то ли финансовых структур, то ли так называемой научной прессы.

Кто из двух последних более искусно водит кого за нос, я судить не берусь. Но знаю, что пляски в шутовском балагане – не какая-то частная завихрень, свойственная исключительно моему любимому Техниону. Так, увы, функционирует большая часть мирового научного сообщества. Гранты, чтобы писать статьи, а статьи – чтобы оправдывать гранты. Гениально, правда?

Но это еще не предел. Давайте сделаем небольшую историческую ретроспективу и взглянем не на картину в макро, а на ее проявление в одной конкретной личности. Знаменитый Исаак Ньютон – столп научной мысли, величайший физик, математик, астроном et cetera. Этот Исаак Исаакович обладал пышным букетом отрицательных качеств – был фантастически желчен, мстителен и чванлив. Разве что, вопреки характерным имени и отчеству, евреем Ньютон вовсе не был, но это сомнительное оправдание.

Стремясь удержать и упрочить первенство в научном мире и заполучить сопутствующие субсидии, почести и привилегии, сэр Исаак Ньютон не жалел сил и средств на выпуск специальных изданий своих трудов с намеренно внесенными ошибками. Кропотливо продуманными и всякий раз иными. Это “добро” рассылалось коллегам, чтобы ввести их в заблуждение и лишить возможности, основываясь на его достижениях, продвигаться дальше, казалось бы, к общей цели. Коллеги топтались на месте, теряли драгоценное время, а Исаак продолжал пестовать свое честолюбие.

Тех из своих современников, кому все же что-то удавалось, он записывал в личные враги. Параноидально преследовал и сводил счеты. Иногда даже после их смерти. Как видите, наш столп наворотил немало дел и основательно навредил науке. Возможно, все это притянуто за уши и не является прямым следствием только зародившейся в те годы системы “статьи-гранты – гранты-статьи”. Тогда остается списать такие замашки на черепно-мозговую травму, нанесенную злосчастным яблоком... Впрочем, довольно, вернемся к нынешним самодурам.

Вероятно, перед любым профессором рано или поздно встает дилемма между истинной наукой и модным поветрием. И каждый находит компромисс, порой выкраивая из бюджета малые крохи на что-то настоящее и идя на двойную сделку с собственной совестью. Но профессора Басада совесть не тревожит. Он относится к той породе верующих, которые убеждены, что сопричастность к религии освобождает их от нравственных обязательств.

Область, в которую его стараниями все больше сворачивает моя исследовательская деятельность, вычитана в таком же модном журнале. Профессор Басад, не стесняясь, выбрал нанотехнологии, в которых он, как и я, ни черта не смыслит. Мои попытки его урезонить выслушивались с нарастающим раздражением, и вскоре профессор Басад объявил, что это вопрос давно решенный.

От напоминаний о том, что мои занятия нанотехнологиями – явление временное, и как только пройдет аврал, мне обещано вернуться в знакомую сферу, – профессор Басад поначалу увиливал. Когда же я стал настаивать, он досадливо разъяснил, что научное изыскание – это не прогулка в парке из известной точки А в заранее определенную точку Б. “Научное изыскание – это приключение! – втолковывал он мне, словно ребенку, – Мы – ученые – стремимся туда, куда ведут нас результаты, а не какие-то вздорные прихоти. Стремимся всеми силами, и не жалуемся. Не ищем отговорок и легких путей”.

Интересно, какие такие результаты могли бы (даже чисто гипотетически) завести кого-либо из компьютерного моделирования в нанотехнологии. Иначе говоря, из прикладной математики в химию. Для пропорции это примерно как если бы мы начали с нанотехнологий, а закончили литературой. И в качестве диссертации подали этот роман.

Мне еще только предстоит узнать, что года полтора назад Шмуэлю удалось выбить деньги на нечто связанное с наночастицами. И теперь он проворачивает затейливую махинацию, постоянно перекраивая сферу моих исследований так, чтобы она одновременно покрывала уже полученный грант и затрагивала парочку будущих. Худшим вариантом для меня будет тот, в котором он получит их все.

Заявки на новые гранты профессор Басад без зазрения совести стряпает в сфере тех же нанотехнологий. Хотя, насколько я могу судить, знаний в этой области у него существенно не прибавилось. Но к чему знания? Сам факт того, что бабки на это ему уже прежде давали, вселяет в него уверенность в собственных силах. Тут стоит уточнить: силы нужны не для самих исследований, а для того, чтобы

заставить меня их провести. Освоить в ударном темпе область, в которой я не разбираюсь и разбираться абсолютно не стремлюсь. Но его это не волнует. Моральный компас у Шмуэля атрофирован.

– Если нам будут платить за то, чтобы мы танцевали на столах, – любит повторять профессор Басад, – будем танцевать на столах.

Подался на десяток лишь бы каких грантов, получил один-два, – и по накатанной. Годичные отчеты о расходах, рапорты о проделанной “работе”, выжимание статейного сока из аспирантов, ритуальное омовение рук, обед, молитва в синагоге и вечный поиск новых субсидий. Прошения, внушения и бумажки, бумажки, бумажки. И все, разумеется, с Божьей помощью.

Куда же без нее...

Раз уж я не удержался и затеял огульное обличение всех и вся и срывание опять же всех и всяческих покровов, то доведу эту линию до логического завершения. Да, я утверждаю, что система продажна. И это плохо, ибо наука не может позволить себе быть продажной. Даже не из морально-этических соображений... кого они когда-либо по-настоящему волновали? ...а из практических. Это не только неэффективно, но и пагубно с долгосрочной, стратегической точки зрения.

Многие важнейшие открытия не имели в свое время никакого коммерческого применения. Да что там, коммерческого, – зачастую никакого практического применения вообще... И только спустя долгие годы привели к технологическим прорывам или даже открытию целых областей познания.

Банальнейший пример – электрон. Об электроны грезил еще в Древней Греции, откуда и происходит его название. Но открытие электрона принадлежит Эмилю Вихерту и Джозефу Джону Томсону. И произошло это знаменательное событие

на рубеже XIX и XX веков. Не буду преувеличивать: оно не осталось незамеченным уже тогда, и спустя почти десять лет Томсон стал лауреатом Нобелевской премии. Но транзистор изобрели только в 1947 году – ровно через полвека после открытия электрона. И лишь затем началось развитие микроэлектроники – основной области современной электроники.

Но тогда – в далеком 1897 году – для многих электрон был забавным курьезом. Чем-то вроде страшилки про антивещество, с которым, несмотря ни на что, и по сей день экспериментируют сбрендившие физики. А основная экономическая выгода, каковую, в меру моего скромного понимания, пока удалось извлечь из антиматерии – это использовать ее в качестве элемента декорации какого-нибудь научно-фантастического сериала.

Однако так же, как нам сейчас относительно антивещества, так же и им тогда было вполне резонно настойчиво поинтересоваться – кому он, нафиг, нужен? Зачем этот электрон?

И Томсон наверняка что-то отвечал. И настаивал на своем, вопреки твердолобому консерватизму и скепсису современников. Но даже он, будучи незаурядным ученым и не дожив до транзисторов – не то что до нынешней электроники, – не мог вообразить и малой толики последствий своего открытия.

А что можем ответить мы, люди XXI века, воспринимающие интернет и виртуальную реальность как нечто само собой разумеющееся. Целый пласт не просто знаний, а повседневной жизни каждого из нас. Новое, бесконечное, почти ничем не ограниченное пространство бытия, способное вместить, и уже сегодня вмещающее многие аспекты существования всего человечества. Целая вселенная, выросшая из электроники, начавшейся с маленького, непонятного и никому не нужного электрона.

Вот и получается: там – электрон, тут – антиматерия, и над всем этим царит система “статьи-гранты – гранты-статьи”, сковывает науку, превращая

профессора то ли в частного предпринимателя, то ли в функционера со всеми вытекающими пагубными последствиями... Я ерничаю и издеваюсь, а что они могут в таком стреноженном состоянии?!

В идеале профессор не должен думать не только о том, как и кому продаться, ни даже о том, где практически применима область его исследований. И из того, что мы пока не нашли прикладного использования антиматерии, вовсе не следует, что те физики маются ерундой.

Любая научная находка ценна сама по себе. Любой осколок знаний содержит неотъемлемую внутреннюю самооценку и непредсказуемый потенциал. Ведь чем дальше прогрессирует наука, тем больше растет осознание масштабов еще неизведанного. И с одной стороны, именно в нем – в неизведанном – будущее, а с другой – жажда сиюминутной выгоды, руководствуясь которой планировать и снаряжать экспедиции к черту на кулички не просто глупо и абсурдно, а невозможно...

Невозможно, но нужно. Нужно. Жизненно необходимо. И поэтому в планировании и снаряжении финансовые аргументы должны играть куда более скромную роль.

Если мы, конечно, хотим, чтобы научная среда действительно занималась наукой...

Школа или евреи и русские

Как меня пробрало-то с наукой... У моего психоаналитика Рут наверняка нашлось бы что сказать, прочитай она прошлый фрагмент. Но теперь давайте о другом. О сокровенном, о живом.

Вскоре после того, как мне исполнилось шесть лет, я был отправлен, чтобы не сказать – препровожден, в школу, имевшую, как большинство советских учебных заведений, удручающе прозаичное название – “Средняя школа номер 75”. Где-то к середине четвертого класса мои одноклассники обнаружили, что они преимущественно русские, а я как-то невпопад – еврей.

Нежданно пробудившееся и болезненно формирующееся национальное самосознание требовало подвигов и жертвоприношений. А мое неумение в нужный момент стушеваться и промолчать служило прекрасным катализатором. В результате я стал регулярно получать по шее. И получал года два, пока мои родители в начале девяностых не увезли меня в Израиль.

В Иерусалиме я угодил в школу с более поэтичным названием – “Зив” (что в переводе означает – сияние), где оказался на тот момент единственным “русским”. Я был чужой, чуждый и странный. На первой перемене новые одноклассники столпились вокруг моей парты, словно у вольера в зверинце. Они разногласно галдели на непонятном иврите и тыкали в меня пальцами. Кто – издали, а некоторые, осмелев, и в прямом смысле. Должно быть, им было любопытно, каковы “русские” на ощупь.

Повальный антропологический интерес к моей персоне длился считанные дни и почти сошел на нет к концу недели. Но охладели ко мне не все. В моей, как тут выражаются, абсорбции – интеграции в новом обществе – решила принять ударное участие шайка “марокканских” хулиганов под предводительством изобретательного отморозка Ицика. Позже я узнал, что сефарды (евреи – выходцы из стран Востока и Африки) склонны причислять себя к ущемленным слоям общества относительно ашкеназов – выходцев из Европы. И потому вечно обиженные сефарды падки на любую возможность восстановления социальной справедливости, среди прочего и путем рукоприкладства. Особенно в случае численного превосходства.

Ицик (краткая форма имени Исаак) был фигурой незаурядной и, несмотря на непримиримую вражду, не уставал поражать мое воображение. На большой перемене он любил выталкивать парты из окон третьего этажа на головы

резвящихся во дворе школьников или метать принесенные из дома шпатели в зазевавшихся младшеклассников. Полное отсутствие каких-либо тормозов завораживало меня и, вкупе с невероятным везением, из-за которого его проделки оканчивались без телесных увечий, внушало невольное восхищение.

Он заливал строительным клеем столы и стулья учителей, и когда мы, в ужасе затаив дыхание, ждали реакции очередного незадачливого преподавателя, раздражался нечеловеческим гоготом, задыхаясь, икая и булькая. Пристрастие Ицика к стройматериалам и их неоскудевающий запас наводили на мысль, что его отец работает прорабом. Как-то на выходных он ухитрился забетонировать парадный вход и пожарные выходы, чем обеспечил всем школьникам свободный день.

Фантазия Ицика была неисчерпаема, однако в своей неустанной и многосторонней деятельности он не забывал и меня. Общение с русскими на тему моего еврейства так и не привило мне навыков помалкивать и не лезть на рожон, и теперь я регулярно огребал от Ицика и компании, но уже по поводу того, что я “русский”. Сам по себе Ицик был заморыш – соплей перешибешь, – но из-за неумного темперамента и преданной группы поддержки в одиночку с Ициком и Ко было никак не совладать.

Мое упорство в неуклюжих попытках огрызаться на их дежурные задирки только подливало масло в огонь. Не то чтобы я так уж умел или хотел драться, но трусливо держать язык за зубами было еще унижительней.

Чем больше я храбрился и ерепенился, тем больше их раззадоривал. И поэтому в забавах Ицика я не всегда был лишь сторонним наблюдателем, а нередко становился невольным участником. Точнее, потерпевшим.

Мои мытарства закончились неожиданно и уж как-то очень по-киношному. Первого сентября на третьем году учебы в этом “Сиянии” мой одноклассник Нир объявил, что вызывает любого из нашей параллели на “честный поединок”. Нир

был веселый и харизматичный. Он профессионально занимался водным поло, обладал сказочно атлетическим телосложением, широкой обаятельной улыбкой и, что особенно подкупало, будто не осознавал своего явного превосходства – никогда не зазнавался, со всеми держался дружелюбно и просто. Этого рубаху-парня нельзя было не любить, а девчонки так и вовсе млели от него все без исключения.

Рассчитывать на победу над таким соперником не приходилось, да я и не рассчитывал, но сразу понял, что это мой шанс, и стал единственным, кто осмелился принять вызов. Следующие двадцать минут были довольно предсказуемыми и ощутимо болезненными. Нир лихо отмутил меня по полной программе на глазах у всей школы. Но я, в некотором смысле, выстоял – не победил, конечно, но сопротивлялся до конца.

Последствия этой потасовки превзошли все ожидания. Нир принял меня в свою компанию, что существенно повысило мой статус и положило конец аутсайдерской изолированности. У меня появились друзья. Девочки стали обращать на меня внимание. Это было приятно и тешило мое уязвленное самолюбие. Хотя, будучи запуган новым обществом и языком, на котором изъяснялся через пень-колоду, предпринять что-то конкретное по поводу девочек я так и не отважился.

Зато Ицик ко мне охладел и будто не замечал меня вовсе. Видно, его чуткое сердце не позволяло делить предмет своей привязанности с кем-либо еще.

Позже я попал в совсем другую школу – при Иерусалимском университете – для прилежных девочек и мальчиков. Там все было иначе. Во-первых, туда же поступил мой друг и компаньон по воровству – Артем Резник, благодаря алкогольным дебошам отчима уже порядком натасканный в рукопашных боях в ограниченном пространстве. Во-вторых, нас было семеро “русских”, а семеро – это банда. И дело далеко не только в численности, а в том, что возникло товарищество, общность, соратничество... И в малознакомом и еще чуждом окружении, наконец, появились свои.

И в-третьих, физическое противостояние стало не так актуально. Однако не совсем и не сразу. В каждой параллели среди двух преобладающих типажей – девочек-припевочек и мальчиков-одуванчиков – имелся класс шеферов. Слово “шефер” (ударение на первый слог) означает – красота или, точнее, краса. На деле, за этим изящным политкорректным фасадом скрывалась программа для проблемных подростков – тех, кого уже столько раз исключали из других школ, что больше этих “красавцев” никуда не принимали.

Руководство привилегированной школы таким макаром убивало целое “стадо” зайцев. Закаляло нас – маменькиных сынков и папенькиных дочурок, перевоспитывало подрастающее поколение мелкотравчатых негодяев и заодно активно пиарилось, снимая любые подозрения в социоэкономической дискриминации их приемной комиссии.

Как бы то ни было, первые месяцы Красавцы не покладая рук бодрили и закаляли нас, а мы – преимущественно наша банда – небезуспешно перевоспитывали их. К середине года между враждующими сторонами восстановился полный консенсус и, как тогда говорили, мир, дружба, жвачка. Причем до такой степени, что, когда в следующем сентябре прибыла новая орава этой отборной шпаны, мы и наши Красавцы уже выступали единым фронтом, и вместе быстро привели новичков к общему знаменателю.

Однако мордобои и отстаивание чести в школьных коридорах, надежно сплотившие нашу небольшую компанию, были не главным. Имелись вещи и поважнее. Например, чемпионат по мини-футболу. Сборная класса состояла в основном из “русских”. Триумфально шагая от победы к победе, мы быстро завоевали первенство школы. Но во втором году уступили его тем самым новым Красавцам, которым к тому моменту уже нанесли сокрушительное поражение в коридорах, туалетах и темных закутках.

Эта шобла хулиганья разгромила нас практически всухую. Помню нашего вратаря Рони, героически выстоявшего до конца, несмотря на расквашенную на

первых минутах физиономию и полную беспомощность всей команды. Но по-настоящему выделялся нападающий Вадик, чьей смелостью, бесшабашностью и некой внутренней свободой я откровенно восхищался. Голов он забил не много, но и без того вполне оправдал роль нападающего. Под конец Вадик без особого повода подкосил одного из соперников, а когда тот вскочил и начал возмущаться, засветил ему в рожу, тем самым затеяв побоище, стремительно переросшее во всеобщую свалку. Матч мы продули, но все же отыгрались как могли, да и Вадик, у которого вечно чесались кулаки, отвел душу.

Его зеленые глаза задиристо блестели, искрились задорно и хулиганисто. Еще Вадик неподражаемо матерился – русским матом на иврите. Ма-бля кара-бля?![7 - Ма кара?! (ивр.) – Че такое?!] – вопил он, сворачивая челюсть какому-нибудь очередному Красавцу. В любых потасовках Вадик всегда бил первым – без раскачки и абсолютно не задумываясь ни о последствиях, ни о соотношении сил. Мне самому он великолепно впечатал по зубам на первой же неделе. Так, собственно, мы и познакомились. Вообще, получить от Вадика по зубам мог кто угодно. С легкостью необычайной.

И так же легок и стремителен он был во всем остальном. Его хохот был самым заразительным, насмешки – самыми дерзкими и хлесткими, а приключения – самыми лихими и отчаянными. Вадик даже шоколад ел так, как я и вообразить не мог. Я надкусывал, обсасывал, мусолил по кусочку... А он с хрустом отхватывал кусман с полплитки, вгрызался в еще несколько кубиков и жевал с масляным кошачьим взглядом, при этом ухитряясь каким-то образом ухмыляться.

Интересно, что теперь с ним? Где он сейчас, бродяга?.. Хоть я уже знаю, что жизнь с особым сладострастием ломает самых удалых и отважных, как-то теплее и легче вообразить, что в глубине его глаз еще плещутся отсветы прежнего задора.

Те, кому импонируют такие натуры, наверняка догадываются, что Вадик с его подвигами – тема неиссякаемая, однако вернемся к основному повествованию. В школьном подвале таилась комната шахмат, ключ от которой имелся только у

“русской” компании. Мы пропадали там целыми днями, и выкурить нас оттуда не удавалось ни учителям, ни директрисе. Гулкий коридор и жутчайшая акустика заблаговременно оповещали о попытках подкрасться к нашему убежищу. Затаившись подальше от двери и сдавленно хихикая, мы игнорировали любые угрозы и увещевания.

Сегодня та пора вспоминается так, будто мы только и делали, что чудили в школьных коридорах да катались по полу шахматной комнаты, угорая от смеха. Но и в шахматы мы там тоже играли. Днями напролет и с безумным азартом. Один из ребят – звали его Павлик – был мастер спорта по этому делу и, подтянув всех до базисного уровня, познакомил нас со Шведскими шахматами.

В Шведки играют два на два и на двух досках. Напарники по команде получают разные цвета. Снятая у противника фигура передается партнеру, который может выставить ее в качестве хода. Блицы Шведок, отыгрываемые нами десятками в день, мало походили на общепринятое представление о шахматах, как о некоем вдумчивом и сосредоточенном времяпрепровождении. Это был залихватский разгул и сущая вакханалия. Мы, ухахатываясь до коликов и до одури, резались в Шведки с таким упоением, что вообще не вполне понятно, как и почему всю нашу честную компанию не выперли взащей из этой элитной школы.

Нам было хорошо в этом маленьком дружном коллективе. Все как на подбор были замечательные ребята, и каждый вносил свой вклад в общее безумие. По окончании школы я поступил в универ, переехал в другой город и выпал из этого круга общения. Да и их с годами разметало кого куда,.. но это уже совсем иная история, а пока пора закругляться и напоследок рассказать о Ницане.

В конце выпускного года мы поехали на недельную... (не знаю, как назвать это мероприятие) экскурсию или поход. Привезли нас в какую-то невообразимую дырень – поселок в пол-улицы в пустыне Негев на границе с Египтом. Разместили в довольно обустроенных строительных бытовках с мощными кондиционерами. Помню, на одной из бытовок во всю стену было выведено русскими разлапистыми буквами “Жопа мира”. Очень точная характеристика.

В этой жопе под названием Ницана нас водили в пешие походы по окрестностям и в качестве исправительно-развлекательной программы гоняли, как это называлось в Союзе, “на картошку”, а в данном случае – на банановую плантацию. Сбор урожая при сорокапятиградусном пекле мне, мягко говоря, не понравился. Интересы школьного руководства, затеявшего воспитание посредством сельскохозяйственного труда не из одних педагогических соображений, а чтобы заодно сделать поездку самоокупаемой и снова укокошить сразу целое стадо зайцев, меня заботили мало. А то, как по этому поводу выразился Вадик, цитировать, пожалуй, не стоит.

На второй день “русские” единодушно похерили все общественные мероприятия, кроме кормежки. Днем в жару спали, а в остальное время играли в карты и всячески дебоширили. Выбравшись под покровом ночной прохлады в разведку, мы с Артемом отыскивали на отшибе за хозяйственными постройками неказистый ларек, притулившийся к длинной ограде. Вскрыть нехитрые запоры оказалось легче легкого. Внутри полки ломились от сладостей и всяких ништяков, морозильные камеры были переполнены мороженым, а холодильники – пивом.

Из этой пещеры Алладина мы таскали добро охапками, угощая не только нашу компанию, но и всех подряд. Не сказать, чтобы от переизбытка альтруизма, скорее из щегольства. Бравировать ловкостью и безнаказанностью для нас было поважнее мороженого, да и, честно говоря, пива тоже.

В один из следующих набегов на ларек мы обнаружили заднюю дверь и за ней калитку в заборе из рабицы, затянутом грубой синтетической тканью. Взломать ржавый замок удалось не сразу. Я поранился какой-то дурацкой железякой и, шипя и слизывая кровь, уступил место Артему. Наконец замок поддался, цепь с предательски громким лязгом соскочила, и перед нами заискрился бассейн с лужайкой сочной травы. Потом – на рассвете – эта зелень буквально резала глаз в контрасте со въевшимся в сетчатку песочно-желтым выжженным ландшафтом.

С тех пор ночи мы проводили в этом оазисе. Валялись в густой траве и купались голышом в пробирающей ознобом и мелкими мурашками воде, словно вобравшей холод выплеснувшегося неба.

Небо... Оно серебрилось россыпями звезд, всполохами туманностей и сгустками мерцающего света. Невероятно глубокое и объемное, как бывает только в пустыне.

Я переворачиваюсь на спину, раскидываю руки и покачиваюсь на водной ряби. И смотрю, заморожено вглядываюсь в космическое пространство, обрушивающееся на меня со всех сторон.

И я тоже падаю в него, тону, растворяюсь...

И вместе со мной каким-то причудливым образом растворяется все – взлеты и падения, потери, радости, мелочные обиды и несбывшиеся наивные мечты... А сегодня уже все так запутано, что не растворить ни в бассейне, ни в море, ни даже в океане. И чем труднее и реже удастся урвать мимолетные, но пронзительные и чистые мгновения, тем ярче вспоминаются наши прежние школьные сумасбродства.

Магистрант, ученый и телохранитель

В вихре дерьма, неуклонно засасывающем всю мою учебу в аспирантуре, есть крохотный закуток затишья – наша подсобка при лаборатории. В этой комнатухе ютятся еще трое страдальцев: Тревожный Магистрант, Заправский Ученый и Телохранитель премьер-министра.

Наиболее выпуклой личностью, если слово “личность” применимо к человеку, выныривающему из сутолоки собственных страхов лишь затем, чтобы мгновенно и без остатка раствориться в окружающей суете, является Тревожный Магистрант. Долговязый, патлатый... во всяком случае был патлатым, пока не познакомился со второкурсницей, на первом свидании обронившей, что мужчине длинные волосы не к лицу. И он тотчас подстригся почти под корень.

– Моя подруга не разрешает мне разговаривать по телефону... – оправдывается уже не патлатый, но ничуть не менее тревожный Магистрант, продинамив довольно важный звонок.

Эта фраза настолько меня озадачивает, что я забываю, зачем его искал. От выражения “не разрешает” в устах тридцатилетнего дылды в голове начинается фейерверк, и я на несколько секунд утрачиваю связь с действительностью.

Сойдясь с новой избранницей, Тревожный Магистрант стал стремительно терять остатки рассудка и пребывал в постоянной дихотомии между щенячьим восторгом и всепоглощающим ужасом.

– Она меня бросит. Бросит! Я знаю, она бросит... – причитает он, мечась взад-вперед по лаборатории в лиловых силиконовых перчатках и защитных очках. – Она бросит меня. Бросит. Бросит! – Он выскакивает в коридор, распугивая студентов. – Я знаю. Знаю! Она непременно бросит!!!

Если не ошибаюсь, где-то в окрестностях Парижа хранятся эталоны метра, килограмма и прочих единиц меры. Я бы туда и нашего Магистранта поместил – как эталон подкаблучничества.

– Мы начинаем жить вместе! – врывается он ранним октябрьским утром, вопя и сияя, как неотложка. – Она согласилась. Со-гла-си-лась! Поздравьте меня! – жизнерадостный до тошноты, он скачет по комнате, норовя обнять нас всех

разом. – Мы! Мы! Мы будем! Жить! Вместе!

– Когда? – уточняет рассудительный Телохранитель премьер-министра.

– В августе!

Познакомился Магистрант с этой девицей недели три назад, и тотальность умопомешательства товарища по цеху уже внушала нам нешуточные опасения.

– А-а, в августе... – облегченно выдыхаю я. – Ну, тогда может еще обойдется. Глядишь, еще успеете сто раз расстаться.

Обескураженный романтик вытаращился на меня и остолбенел, будто на его глазах я зарезал и съел младенца. К господствующим общественным ценностям Тревожный Магистрант относится как к непререкаемым истинам и даже представить не может, что ему “разрешается” иметь по их поводу личное мнение. Такой же трепетный пиетет он питает к инстанциям, организациям и людям, наделенным каким-либо авторитетом. К профессору Басаду – в первую очередь.

Мелкий подхалимаж, заискивающие улыбки, угодливое поддакивание и готовность залиться смехом при легчайшем намеке на шутку. А профессор Басад постоянно дрючит его без всяких причин – чисто для забавы. Конечно, Магистрант сам напрашивается. Но Шмуэль настолько к нему жесток, что каждый из нас троих, несмотря на субординацию, уже пытался урезонить профессора.

Все впустую. Минимум раз в день перед обедом профессор Басад заходит, с порога пинает Тревожного Магистранта и лишь затем приступает к ритуальному омовению рук. Для него эта издевательская профилактика уже превратилась в неотъемлемую часть церемонии приготовления к приему пищи. Своеобразная методика возбуждения аппетита и стимуляции желудочно-кишечного тракта.

Заправский Ученый совсем иной. Зовут его Ор, он безмятежно спокоен, в любой ситуации сохраняет чувство юмора и имеет привычку заменять существительные в предложениях словосочетанием “fuckin' shit”[8 - Fuckin' shit (англ.) – гребаное дерьмо.]. Особенно забавно в таком изложении звучат описания экспериментов. В полдень Ор неизменно медитирует. Прямо посреди нашего бедлама надевает наушники, закрывает глаза и отключается.

Еще Заправский Ученый любит во время работы издавать разнообразные звуки. Я, кстати, тоже сам с собой разговариваю, охаю, мычу, кряхчу. Будто не на клавиатуре печатаю, а дрова колю. И он точно так же. Мы с ним сидим плечом к плечу, и наш бурный научно-исследовательский процесс сопровождается бессвязным двухголосым звуковым рядом.

Ор тоже подтрунивает над Магистрантом. Каждый приступ смятения нашего коллеги он встречает чем-нибудь еще более циничным, чем я. Порой это несколько отрезвляет Тревожного Магистранта, и тогда он рассыпается в благодарностях. По его словам, мы помогаем ему сохранять остатки мужской природы. И он просит продолжать, чтобы не дать ему окончательно размякнуть.

Теперь о том, почему я прозвал Ора “Заправским Ученым”. Этот эпизод произошел как-то под конец дня, когда суета уже улеглась, труженики науки стряхнули послеобеденный анабиоз, отделались от будничных хлопот, и их помыслы воспаряют ввысь – прочь от досужих дум к чертогам цитадели истинных знаний и мудрости.

Итак, Ор обрабатывает результаты. Точнее, он их уже обработал, вывел на график и теперь силится узреть в нем искру некой высокой истины. Растянет одну ось координат, посмотрит так и эдак, сожмет другую, пристально вглядывается. Потом первую сожмет, вторую растянет.

Я исподтишка наблюдаю. В основном за Ором и его мимикой, на графике интересного мало – наклонная прямая ожидаемых теоретических значений и точки замеров. Но эти точки, при всем желании и моем дружеском расположении к Ору, крайне смутно напоминают искомую наклонную. Общая тенденция результатов больше смахивает на умеренный белый шум вокруг постоянного значения.

Помните рассуждение об абсурдности системы “статьи-гранты – гранты-статьи”? Вот и Ор придерживается мнения, что это нелепо и неэффективно. Но вопреки и наперекор он толкает меня локтем и предельно серьезно спрашивает:

– Скажи мне как ученый, что мы видим на этом графике? – очередной щелчок мышки деформирует изображение в вертикальном направлении. Ничего существенно не меняется. – Есть ли тут зародыш чего-то значительного? Есть ли проявление явления?

– Эм... – расстраивать его не хочется, но и лукавить тоже. – Прости, вижу ли я физическое явление? Или предлог для второй статьи в твою диссертацию?

Он криво усмехается. Заправского Ученого так просто за живое не задеть, и я продолжаю:

– Тогда – да, еще как! Я, как ученый, ответственно заявляю: тут не то что зародыш, тут прям... грозди статей рвутся на свет из каждой точки! Главное, налепи цвета поярче и какую-нибудь объемную штукину с драматической перспективой... скажем, столбчатую гистограмму или такую, как ее... радиальную сеточную диаграмму забабахай, чтоб все прям ошалели. И это... не миндальничай – попестрее да посочнее.

Ор несколько минут с досадой разглядывает график, потом звонит будильник, он быстро сохраняет пару вариантов чуть по-разному деформированных результатов и переходит к следующему делу. У него все строго по часам. На все

стоят таймеры и напоминки. Без педантичного фанатизма, но четко и продумано. Ни одна минута не пропадает зря. Работать в обществе такого собранного и уравновешенного человека – редкое удовольствие.

Самый нормальный из нас – Телохранитель премьер-министра. Он родился и вырос в кибуце[9 - Кибуцы в своих истоках были сельскохозяйственными коммунами, характеризовавшимися общностью имущества и равенством в труде и потреблении.]. Выходцам из кибуцев – этих архаичных инкубаторов социалистической утопии – свойственна детская беспечность и безответственность, забавно сочетающаяся с налетом горделивого ощущения, что они и есть новая соль Земли Обетованной. По сути, изначально кибуц был дальним родственником советского колхоза. А сегодня там уже особо не перетруждаются и, пользуясь былой славой дедов и прадедов – сионистских поднимателей целины, давным-давно живут припеваючи за счет государственных субсидий.

Сходство колхоза с кибуцем весьма условно. Будто один из родственников так и остался в глуши какого-нибудь Мухосранска, а второй укатил кружным маршрутом в Швейцарию, но, заплутав, увяз на полпути в наших песках, отогрелся, остепенился и с годами превратился в цивилизую и благоустроенную акционерную ферму. Хоть и с некоторыми, свойственными коммуне, перегибами.

Телохранитель премьер-министра – не типичный кибуцник. Он не обладает пышным букетом кичливого инфантилизма, и действительно после армии был телохранителем, и действительно премьер-министра[10 - Главой государства в Израиле де-факто является премьер-министр.]. А теперь он заканчивает магистратуру. Телохранитель, как и подобает, железобетонно невозмутим, собран и немногословен. Однако стоит сойтись с ним поближе, и из-за сурового фасада проступает остроумная и легкая натура. Вместе с тем он отличается широким кругозором и гибким подвижным умом. Но для нашего научного руководителя у него припасен цепкий профессиональный взгляд, и я подозреваю, что профессор Басад его побаивается. Во всяком случае, к Телохранителю Шмуэль никогда не обращается первым.

Необходимо дать небольшое пояснение, места которому все никак не находилось. У нас, по примеру США и Канады, существуют три уровня высшего образования: бакалавриат, мастерат, аналогичный российской магистратуре, и докторат. Докторат – это высшая степень, полное название Doctor of Philosophy (Ph.D. – от латинского philosophiae doctor), то есть доктор философии. Скажем, доктор философии по физике или доктор философии по философии. Тут можно бы, как я люблю, развести целую философию по поводу того, что у нас доктор в любой области – он доктор философии. Но мы так поступать не станем, а вместо этого договоримся о терминах.

Чтобы передать реалии, в которых разворачиваются события романа, не обременяя текст странными производными от слов “докторат” или “Ph.D.”, я буду использовать смешанную терминологию. Мастерат будет называться магистратурой, обучение на Ph.D. – аспирантурой, а доктор философии (обладатель степени Ph.D.) – просто доктором и иногда доктором наук, чтобы не путать доктора со врачом, а доктора философии с доктором философских наук. Строго говоря, это неточные определения, но они избавят нас от лишней путаницы и диковинных словесных нагромождений.[11 - Все это, как вы, возможно, догадываетесь, затеял Господин Редактор.]

Возвращаясь в подсобку при лаборатории, сидим мы там как-то с Телохранителем, работаем – в меру сил подгрызаем гранит науки. Тут врывается Тревожный Магистрант и выпаливает:

– Там такая телка... – он задыхается от переизбытка эмоций. – Такая телка! На факультете. Новая. Я только что видел. Вы обязаны посмотреть.

– У тебя же подруга, – напоминает ему Телохранитель.

– Да нет, что вы! – Тревожный Магистрант оскорблен в лучших чувствах. – Я же не для себя, просто она такая... – он снова не находит слов. – Вы должны срочно посмотреть.

Предложение не вызывает ажиотажа у Телохранителя. Он женился пару лет назад и, судя по всему, вполне доволен.

– Ян! – Магистрант бросается ко мне. – Но ты-то чего сидишь? Там же такая... такая телка пропадает!

Видимо, мой холостяцкий образ жизни в его понимании предполагает готовность волочиться за каждой юбкой. Самого себя, с момента получения от подруги согласия на совместное проживание, Тревожный Магистрант воспринимает как глубоко семейного человека.

– Ты должен выебать новенькую, – исступленно настаивает он, несмотря на мои попытки свести все в шутку. – Ну пожалуйста, только глянь на нее...

– погоди, я не понимаю. Она нравится тебе, а ебать должен я?

– Ну что тебе стоит, – Магистрант не в состоянии уловить иронии, – только глянь, – продолжает канючить он.

– И вправду, Ян, – Телохранитель с усмешкой оборачивается ко мне: – Не кобенься, это вопрос чести. Надо поддержать реноме лаборатории.

– Вот именно! – воодушевляется Тревожный Магистрант. – Ты должен ее выебать. Просто обязан.

– Справишься, – весомо резюмирует Телохранитель, – добавлю тебе десять баллов к оценке[12 - В школах и ВУЗах Израиля используется 100-балльная система оценок.].

Он ассистент профессора на курсе нашего научного руководителя, куда тот засунул меня насильно (правда, в качестве вольнослушателя). Но это отдельная и не самая приятная тема, к которой нам, возможно, придется вернуться. А пока

не будем о грустном. Тем более что мне не терпится рассказать еще случай с теми же действующими лицами и в тех же декорациях.

Тревожный Магистрант готовится к экзамену по физиологии. Как и все прочее, делает он это импульсивно, сумбурно и бестолково. Запутавшись в конспектах, принимается смотреть лекции на Ютубе и, начав с яйцеклеток, неведомым путем попадает на анимированную пропаганду защищенного секса для транссексуалов.

Увиденное приводит его в ужас. Насколько мне удастся уразуметь природу этой реакции, в его голове еще кое-как укладывается гипотетическое существование транссексуалов. Но вот чтобы так – в открытую – снимать о них и для них мультики в диснеевском духе с романтическими переливами арф?!

Досмотрев и не в силах вместить в сознание, он запускает ролик повторно. На третьем просмотре мы с Телохранителем уже дружно гогочем со стонами и произвольными всхрюкиваниями.

Лейтмотив транссексуальности как повод для приколов над Тревожным Магистрантом всплывает в разговорах до конца дня. Но нашему морально пострадавшему товарищу так и не удастся оклематься от полученных впечатлений.

Назавтра является Заправский Ученый, пропустивший просветительный экскурс в физиологию транссексуалов.

– Пока ты там в больнице возился с пробирками, – радостно приветствую его я, – мы приняли решение, – кивок на Телохранителя и Магистранта, – сделать операции по смене пола.

– Чудесно! – в тон мне отзывается Заправский Ученый. – Буду иметь вас всех троих. Поочередно.

Берлинская стена в моей голове

Понятие “русский” в Израиле, да и во всем мире, не имеет этнической окраски и не подразумевает национальной принадлежности. Русские – это те, кто говорят, и главное – думают по-русски.

До сих пор я использовал термин “русские” в кавычках для обозначения русскоговорящих граждан Израиля. А этнические русские, проживающие в России, для нас – русские русские.

Изначально я собирался строгого придерживаться терминологического разделения между: “русскими”, русскими и русскими русскими. Но боюсь, это только усугубит путаницу. Что, в сущности, не обязательно так уж плохо, и, быть может, даже обогатит текст. Практика показывает, что читатели способны усмотреть совершенно непредсказуемый смысл, зачастую противоположный тому, что подразумевал автор.

Один из возможных выводов из этого наблюдения таков: стоит нагородить побольше туманных образов, двусмысленных идей и смутных намеков, хорошенько перемешать, и, если от страницы к странице текст увлекателен, в тепле читательского внимания у каждого в голове испечется свой индивидуальный каравай смыслов.

Правда, путаницы и без того возникнет предостаточно. И нет нужды множить ее терминами, разнящимися исключительно знаками препинания. В дальнейшем все три понятия я стану обозначать одинаково, надеясь, что из контекста будет ясно, о чем речь.

Теперь, когда мы, наконец, разобрались, кто есть русские, можно сделать вот такое признание: я долго жил в уверенности, что русские (и, следовательно, “русские”) – они какие-то особенные. Не такие, как все остальные люди на земле.

Сызмальства все вокруг – общество, культурная среда и русская классика пичкали меня баснями про загадочность русской души, про бескрайнюю степь, про “Поле-е-е, русское поле...” И я охотно верил, так как считал себя их правомерным бенефициаром. И поэтому не помышлял о возможности полноценного общения с представителями иной – якобы не столь пышно развитой и царственно богатой – культуры.

Репатриировавшись, я, как и большинство выходцев из России, привез улиточный домик этого мировоззрения вместе с собой. Поначалу оно даже помогало, служило защитой и убежищем. Сталкиваясь с инакомыслием и чуждым менталитетом, я записывал израильтян в категорию наивных лопухов и усердней укреплял и наращивал свою защитную скорлупу.

В качестве дополнительной меры обороны я вместе со своей скорлупой долгие годы обитал преимущественно внутри русскоязычной среды. Что не так уж меня ограничивало, в особенности после переезда в Хайфу, где расположен Технион, в котором, грубо говоря, треть русских, треть арабов и треть коренных израильтян.

Однако, насмотревшись со стороны на идентичное явление – идею избранности евреев, в которую многие израильтяне верят не менее фанатично, чем русские в избранность русских, – я был вынужден пересмотреть свои культурно-этнические предубеждения.

Настало время признать банальную истину. В первую очередь признаться самому себе. Это случилось не в одночасье, а поэтапно – мелкими шажками. Но

на вас, уж простите, это откровение обрушится разом.

Внимание! Дерзкое откровение: русские (в кавычках и без) – такие же, как все остальные. Только чуть более угрюмые и замкнутые.

Вот, высказался. Остается надеяться, что меня не сожгут за это святотатство на Красной площади.

В силу такого прозрения возникла необходимость деконструкции Берлинской стены между русскими и израильтянами, которую я так старательно возводил и в которой неумолимо латал прорехи в течение первых десяти лет жизни в Израиле.

Конечно, стена никогда не была вездесущей и не затрагивала все жизненные аспекты. Я учился в школе, в институте, где-то работал и порой даже участвовал в общественных мероприятиях, но, как и многие репатрианты, придерживался русских компаний и редко предпринимал попытки сближения с “местными”.

К ликвидации Берлинской стены я приступил в свойственной мне манере – порывисто и прямолинейно. Кратчайшим путем и наиболее кардинальной мерой показалось мне срочное обретение сексуального опыта с представительницами разношерстного израильского общества.

Примерно в то же время я осознал, что мои отношения с противоположным полом напоминают заколдованный круг – раз за разом повторяющуюся череду тупиковых ситуаций. Ужаснувшись, я ощутил необходимость найти виновных, которыми, как несложно догадаться, оказались не я и не мои паттерны поведения, а женщины. Все русские женщины разом!

Под эту гипотезу я немедленно подвел теоретическую основу. Люди (даже самые рациональные) зачастую формируют собственные взгляды, исходя не из непредвзятых наблюдений, их анализа и последующих логических заключений, а из подсознательных предпочтений. Иными словами, по принципу – нравится / не нравится. Просто так называемые “рациональные люди” ухитряются придумывать убедительные и порой даже логически безупречные аргументы для оправдания своих бзиков. Но в корне это ситуацию не меняет.

То есть чувства приязни и неприязни определяют мировосприятие и поведение. Под них подводится “логическая” мировоззренческая теория. Потом мы незаметно для самих себя меняем местами причины и следствия. И делаем вид, что мы принципиальны и последовательны.

Я поступаю так постоянно. Нахожу самое удобное для себя “разумное” объяснение и возвожу в закон природы. И таким обходным путем поддерживаю иллюзию, что я, во-первых, рассудительный и здравомыслящий человек. А во-вторых и в-третьих, ни в чем не виноват, и опять, как всегда, чертовски прав.

Извольте полюбоваться: теория “женщины – как мороженое” или, точнее, “русские женщины – как мороженое”. (Для полноты клинической картины необходимо читать этот пассаж таким тоном, будто все нижеизложенное является истиной в последней инстанции.) Всегда хорошо опереться на историческую подоплеку или ее кажимость. Я тоже последовал этой традиции. Итак, моя теория не просто взята с потолка, а имеет глубокие и ветвистые корни в русской культуре. Это наблюдение отразилось в народной мудрости в следующей лаконичной форме: “Женщины – как мороженое. Сначала – холодны, потом тают и становятся липкими”.

То есть сначала они надменны и наигранно безразличны, затем стремительно и необратимо тают, и на заключительной стадии становятся зависимыми, назойливыми и капризными.

Тающее мороженое – характерная поведенческая черта женщин, подростковые годы которых пришлись на ранний постсоветский период. Такое положение вещей весьма понятно и даже простительно. И является следствием резкого перехода от полупатриархального восприятия женской роли в обществе, семье и романтических отношениях, к скороспелой и сумбурной эмансипации. Результат постоянного столкновения между установкой на самореализацию и архаичной, но увековеченной бессмертной классикой и накрепко засевшей в социальном сознании, директивой занимать позицию “слабой (но гордой) женщины”.

Хоть когда-то – при советском строе – женщина стояла у станка, укладывала рельсы, махала серпом, что-то такое делала с сохой и добывала руду в шахтах наравне с мужчинами, в романтических связях она продолжала позиционировать себя тургеневской барышней.

А сегодня у нее уже нет ни серпа, ни отбойного молотка, соху – и ту отняли, а внятного ориентира, какого рода барышней ей теперь должно быть – не дали. Вот, собственно, и вся эмансипация. Сбрось оковы! И Состоись! Состоись как современная эмансипированная успешная женщина. А что подразумевает это трудно вообразимое понятие, никто не знает. То ли дело у Тургенева – все четко и ясно – садись, читай и действуй по написанному. Но те времена канули в лету, и сегодняшняя установка примерно такова: ты – женщина, свободу тебе дали, вот и вперед – разберись, реши, воплоти и Состоись!

А пока она над всем этим размышляет и не нашла четкого ответа, как и куда грести, мы имеем женщину а-ля мороженое. За ней следует галантно и почти безнадежно ухаживать. Ее взбалмошности, как суррогату свободы, пользоваться которой по назначению она пока не научилась, можно только умиляться. И за нее, само собой, надо по-джентльменски платить при выходе в “свет”.

Завершив эти логические построения, я установил виновных, обосновал собственную правоту и остался чрезвычайно собой доволен. И самое прекрасное – решение обеих стоящих передо мной проблем даже не надо было искать. Оно напрашивалось само собой. Итак, стремление сломать приевшийся паттерн интимных отношений, подкрепленное теорией “русские женщины – как

мороженое”, и проект деконструкции Берлинской стены между русскими и коренными израильтянами привели меня на израильский сайт знакомств.

* * *

Поначалу я попадал в курьезные ситуации. Одна деваха с неподражаемой непосредственностью осведомилась, какой у меня длины. Прямо с первых слов в чате. В этой непринужденности было даже некое очарование. Я, стараясь соответствовать, спросил: “А какой у тебя глубины?” Она дьявольски оскорбилась. Не вполне понятно почему.

Потом три девицы подряд поинтересовались обрезан ли я. С первой я растерялся. Может, о глубинах размышлял. Не помню. Ничего с ходу не придумав, честно отрапортовал о положении вещей. Не скажу, чтобы мне понравилось отчитываться подобным образом. Второй любопытствующей я уже ответил, что ей придется выяснять этот вопрос собственноручно.

Постепенно научившись разбираться в типажах, я стал реже влипать в истории. Но прежде чем перейти к дальнейшему повествованию, не могу не упомянуть уникальный экземпляр спонтанности и раскрепощенности.

Представьте сайт знакомств, анкету с фотографиями двадцативосьмилетней довольно привлекательной особы и следующий текст:

Я Ноа.

Я пью кукурузный сок. Просто балдею. Прямо так – из банки. Еще обожаю сердцевины пальмы.

Ташусь от семечек. Могу сгрызть целый пакет. У меня даже есть собственная система их грызть.

Если у кого-то закралось подозрение, что это ирония, поверьте, вы ошибаетесь. Так, в ее понимании, выглядит открытость и естественность.

Я сплю с ночником и никогда не встаю в туалет посреди ночи.

Я способна вместить все. Справиться с чем угодно. Трудности меня не пугают.

Не выношу, когда жуют над ухом или пьют прихлупывая, или маячат за спиной, когда я работаю.

В графе “Кого я хочу найти” значится:

Мужчину, в душе которого журчит музыка, а пища доставляет наслаждение его внутренним органам.

Думаю, вполне достаточно. Позаимствовать весь шедевр целиком совесть не позволяет, а пародировать не берусь. Вряд ли в моих силах симитировать столь самобытный стиль.

В целом общение на израильских сайтах мне нравилось. И не только из-за неподражаемых автобиографических жемчужин с сочными кукурузными откровениями. Израильтянки в большинстве держались просто и раскованно. Без излишней наигранности и без неперемного ожидания, что инициативе надлежит исходить исключительно от мужчины. Напротив, она нередко исходила от них самих, что, признаюсь, довольно приятно и радует свежестью впечатлений.

Отдав дань адекватности израильских женщин, вернемся к курьезам и начнем с Ханукальной Поэтессы. Пообщались в чате, поговорили по телефону, условились

встретиться в пабе. Звонит она, как только стемнело – часа за два до свидания – и говорит, мол, на улице так холодно... “Так холодно” – это плюс восемь. И косой осенний дождь. Рваный. Льет, льет, потом ненадолго утихнет. Зато ветер не унимается. Колючий. Резкий. Буря – это у нас называется.

В Израиле меньше двадцати градусов – это уже холодно. А если, чего доброго, раз в пять лет выпадет снег – и вовсе стихийное бедствие. Страна замирает. Автобусы не ходят. Дети в школу ни ногой. А взрослые высыпают из прожженных кондиционерами офисов и, как маленькие, играют в снежки.

– Уй, на улице так холодно, – говорит она. – Давай... мм... только не пойми меня неправильно, – короткая заминка для сохранения видимости приличия, – давай-ка встретимся у меня. Ты не против?

Я, понятное дело, не против.

Приезжаю, звоню, она дистанционно открывает ворота во дворик и спускается ко мне. Я не сразу понимаю зачем. Спускаться кажется несколько лишним, разве что она собиралась внести меня в дом на руках.

Поднимаясь по лестнице, она вертит передо мной попкой в облегающих кожаных штанах, предоставляя возможность оценить аппетитность ее форм и тонкость тактического хода. Задница у нее действительно что надо – особенно в таком ракурсе и обтянутая тугой черной кожей.

– Как хорошо, что ты приехал! – объявляет она с порога. – Сегодня пятый день Хануки[13 - Ханука – восьмидневный праздник в память об освобождении и очищении Храма.]. Мы должны зажечь свечи.

Мы, а точнее – я, под ее руководством, по всем правилам Галахи[14 - Галаха – совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев.] – как мужчина, зажигаю ханукальные свечи. Потом она, с той же церемонностью и серьезностью, с которой зажигались свечи, достает и вручает мне косяк. Я раскуриваю, отдаю обратно.

Она затягивается и начинает обходить стойку, на которой между нами горит ханукия[15 - Ханукия – ханукальный светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника.]. Двигается медленно, но неотвратно, словно по тонкому льду, где нельзя останавливаться. На лице ее отсветы свечей, а на губах лукавая улыбка.

Когда она оказывается напротив меня, тень от распущенных волос скрывает ее черты. В зубах подрагивает огонек косяка, и в глазах пляшут его блики. Я откидываюсь на стойку и медленно провожу ладонями по холодной мраморной поверхности, выпрямляя руки и вбирая взглядом эти сумасшедшие искры. Она невыносимо плавно приближается вплотную. Я лишь крепче стискиваю пальцы. Ее бедра касаются моих. Я вдыхаю ее запах. Она вынимает изо рта косяк, наклоняется и, щекоча мою шею кончиками волос, шепчет на ухо охрипшим голосом:

– А если мы... сейчас немного пошалим... – я чувствую горячее прерывистое дыхание, – у нас еще будут долгие разговоры в ночь... – ее ногти царапают кожу, – о музыке, о лирике, о литературе... Ты ведь любишь... – ногти жадно впиваются в мой загривок, – ты ведь любишь литературу?

Она увлекает меня в спальню. Сбрасывает на пол пуховое одеяло, и сразу становится жарко и как-то... тесно. И косой дождь все лупит и лупит по запотевшим окнам.

Потом мы курим, стоя босиком на ледяном полу, она прижимается ко мне и глядит на бегущие по стеклу капли, а рядом на полке, где не осталось живого места от потрепанных книг, обнаруживается Венечка Ерофеев. “Москва – Петушки” в переводе на иврит кажется мне чем-то невообразимым. Я смеюсь, и она смеется вместе со мной, мы смеемся и не можем остановиться.

Я нахожу книжку ее стихов, перелистываю, вчитываюсь, и вдруг она принимается захлеб рассказывать, как бывший трахал ее в жопу. Смачно, в анатомических подробностях и в донельзя откровенных выражениях. Трахал, трахал и дотрахал до столь нетривиальной кондиции, что она уже иначе не может. Не кончает. Но! Когда из-за границы прилетит заказанный в сетевом секс-шопе дорогуший вибратор, в ее половой жизни откроются небывалые горизонты. Я буду пялить ее в жопу, как бывший муж, а...

– А во второй дырочке, – облизываясь, поэтично завершает она, – будет усердно трудиться мой новый multifunctional вибратор.

Такая перспектива показалась мне не слишком привлекательной. Слушая ректальную сексодраму, я рассеянно листаю ее стихи на высоком иврите, где и без подобного аккомпанемента ничего не разобрать. Затем отыскиваю раскиданную одежду, дожидаясь, пока она уложит проснувшуюся в соседней комнате дочку, наскоро прощаюсь и ретируюсь, так и не сдержав обещание долгих разговоров в ночь о лирике и литературе.

* * *

Однако не все знакомства были сугубо скоропостижны. Спустя некоторое время я повстречал Орталю. Ор таль – свет росы. Живописно, не правда ли? Но мне нравилось не только имя. Я сразу влюбился в эту взрывную и неугомонную бестию, будто мне восемнадцать.

Орталю была женщиной любви. Или даже Любви. Все у нее было про любовь и о любви. Она читала курс “Любовь” в тель-авивском университете. Не, скажем,

любовь в литературе или в психологии. Нет – просто “Любовь”. Этот курс разработал какой-то русский тип. Приехал, понимаете ли, из России эдакий умник объяснить местным олухам и сухарям про любовь. Или так: за Любовь. Кроме этого, она писала в том же универе диссертацию о роли женской сексуальности в любви и вела семинар для женщин среднего возраста. Тоже, естественно, о любви.

Когда ей было двадцать, она подалась волонтером в лагерь для африканских беженцев. Когда исполнилось двадцать три, Орталъ заинтересовалась религией и стала посещать вечерние занятия Талмуда, а после – срывалась на дискотеку и скакала там до утра. “Ах, какие у меня были гетры”, – смеется она, обнажая аккуратные крепкие зубы. У нее смуглая кожа и глубокие карие глаза, на дне которых бесятся целые выводки чертей.

Как было в нее не влюбиться? И я влюбился. По уши. И все шло чудесно. Уже месяца два мы проводили вместе все свободное время. И вот она приезжает ко мне на выходные, мы выбираемся из постели только под вечер, она привезла что-то вкусненькое и смотрит на меня умиленно – так смотрят женщины на своих возлюбленных, поглощающих приготовленную ими пищу. Имеется в виду – поначалу, когда они еще не ворчат себе под нос: “У-у... прожорливая скотина”.

Словом, дождавшись, пока я доем и погружусь в умиротворенно-расслабленное состояние, она проворковала:

– Знаешь, я давно хотела с тобой поделиться...

Я что-то промычал, расплываясь в осоловелой улыбке.

– Уже три года у меня есть Мастер. Мы встречаемся раз в месяц. Понимаешь, солнце, я давно увлекаюсь БДСМ-практиками... – мой раскисший в сытой неге мозг конвульсивно дернулся, давясь этой тирадой. – Это, разумеется, никак не

касается наших с тобой отношений, – она очаровательно улыбнулась. – Просто я чувствую некий... дискомфорт. Я ведь стараюсь быть предельно искренней, но... все не находила удобного случая для разговора.

Мозговая судорога не отпускала.

– Мой Мастер снимает для нас отдельную квартиру. Как правило, он назначает встречи заранее, а в остальное время мы не общаемся. Он лишь иногда звонит на следующий день – узнать, как я себя чувствую. Но недавно... – она скромно потупилась. – Недавно он доверил мне подыскивать для него новых рабынь.

Мне показалось, что Орталь даже слегка зарделась от целомудренно скрываемой гордости.

– Я провожу предварительные собеседования, делаю кастинг и присутствую на инициации. Бывает, они звонят мне – ищут совет и поддержку. Особенно после первых сеансов. Тут крайне важна чуткость. Есть множество аспектов...

Все это рассказывалось таким тоном, будто речь идет о самом невинном хобби – чем-то вроде вязания или вышивания крестиком в пансионе благородных девиц.

– Мы придерживаемся четких границ. Так, чтобы это не мешало личной жизни, – продолжала Орталь, слегка досадуя на необходимость втолковывать мне, профану, тривиальные истины. – Я долго над собой работала, и теперь для меня это два совершенно отдельных мира. Никак друг с другом не пересекающиеся. Тут тоже немалая заслуга моего Мастера. У него дом, жена, трое славных ребятишек – большая счастливая семья, и при этом полная свобода развиваться и самореализовываться. Разве это не прекрасно?!

Я медленно выдохнул, пытаюсь представить себя в этом треугольнике. И тут же вспомнил про ее подопечных рабынь... Получился какой-то неумещаемый в сознании многогранник. Почему-то особенно коробила та гордость, с которой она хвасталась возвышением в их иерархии.

Уловив мое раздражение, она терпеливо попыталась разъяснить все сначала. Выходило, что тот факт, что ежемесячно ее будет драть какой-то хмырь, никак не касается ни меня лично, ни наших с ней отношений. Ни-как! Это совершенно отдельная от всей остальной жизни тема, никоим образом не противоречащая стремлению к полноценным и гармоничным отношениям. И опять же, она долго над собой работала, и теперь способна абсолютно изолировать эти два аспекта своего бытия.

– С душевной и телесной близостью это вовсе не связано! – безнадежно выкрикнула она, исчерпав последние аргументы. – Господи, да как же ты не понимаешь?!

– Знаешь, Орталъ, – поразительно спокойно произнес я, хотя внутри клокотало и лопалось, – ты мне очень... очень нравишься, но я не готов ни с кем тебя делить.

– Твой эгоизм губит нашу любовь, – обреченно проронила она. – Неужто твое ненасытное эго тебе важнее меня?! Моего роста и развития как личности?!

Она так и ушла. Опустошенная, разочарованная и непонятая. Но гордая и желанная.

Я долго не мог ее забыть. Даже не знаю, что терзало меня больше: тоска потери или то, что мне и моим чувствам предпочли какого-то “Мастера”. Когда я вывалил все моему психоаналитику Рут, она совершенно не поделила моих переживаний. Смотрела на меня косо, будто я угнетаю и ущемляю... Я списал это на треклятую женскую солидарность, разозлился и чуть не поссорился заодно и с ней.

* * *

Справедливости ради повторюсь – этими историями я отнюдь не пытаюсь создать впечатление, что израильтянки все поголовно чокнутые. Напротив – нормальные эмансипированные женщины. Просто, во-первых, у меня талант вляпываться во всякие приключения, а во-вторых, о том, как все началось хорошо и кончилось хорошо, не интересно ни писать, ни читать.[16 - Господин Редактор интересуется, зачем написано это предложение. Какова его смысловая нагрузка?]

В итоге всех перипетий я счел заключительный этап абсорбции в израильском обществе успешно завершенным. Кроме того, в моей жизни появился близкий друг Дорон – израильтянин до мозга костей, о котором я уже упомянул, и с которым вы еще не раз встретитесь.

Берлинская стена рухнула, и на ее развалинах зацвели первые ростки кактусов Сабрес[17 - Сабрес – опунция. Это растение является одним из неофициальных символов Израиля и израильтян.] – с жесткими колючками снаружи и сладкой мякотью внутри.

Нас нет

...Но тут на Максима напала муха, и ему пришлось вступить с ней в борьбу. Муха была мощная, синяя, наглая, она насакивала, казалось, со всех сторон сразу, она гудела и завывала, словно объясняясь Максиму в любви, она не хотела улетать, она хотела быть здесь, с ним и с его тарелкой, ходить по ним, облизывать их, она была упорна и многословна. Кончилось все тем, что Максим сделал неверное движение, и она обрушилась в пиво.

Аркадий и Борис Стругацкие

По разным соображениям, которые прояснятся позже, я пытался избежать описания главного персонажа этого фрагмента. Тактично обойти его стороной. Я сомневался, тянул, откладывал... Но повествование, как и природа, не терпит пустот. Пузырь ширился, набухал, нарушая структуру и целостность, и стало ясно, что необходимо принять неизбежное.

Персонажа зовут – МАксим, с ударением на первый слог. Я долго не понимал, почему израильтянам кажется, что ударения в русских именах непременно ставятся на первый слог. Они произносят: рОман, а не ромАн, бОрис, а не борИс, и влАдимир, а не так, как надо. Хотя, к примеру, в еврейском имени Дорон – ударение на втором слоге, да и Моисей ударением на первый слог не грешил. Мне в этом смысле повезло, над моим именем не поиздеваешься. Хотя Шмуэлю иногда удастся его коверкать. Недюжинные способности – профессор как-никак.

Решив разобраться с ударениями, сделал несколько поисковых запросов и выяснил, что в английских именах, как и в исконно английских словах, ударение почти всегда на первом слоге. Та же участь постигает и иностранные имена. Ветхозаветный ДавИд становится ДЕЙвидом, РахИль превращается в РЕйчел, а МоисЕй – в МОузеса. Подобное происходит с французскими именами, с русскими и с большинством других чужеродных слов и имен. А в Израиле просто переняли эту манеру.

Итак, МАксим – диковинное для здешних широт явление. Обитает он во вражеской подсобке при лаборатории. Подсобки у нас две – своя и вражеская. Там – во вражеской – окопался доктор каких-то наук, называющий себя колхозником. “Ян, пойми, я – колхозник!” – многозначительно втолковывает мне МАксим, когда между нами возникают разногласия. Почему это должно служить весомым аргументом в пользу его точки зрения – неясно. Всякий раз как он выдает свое “я колхозник”, мне слышится “я придурок”.

Колхозник кряжист и квадратен лицом. Покатые плечи и бобрик – словно раз-другой топором тяпнули, и ладно. Он и вправду любит разыгрывать из себя сельского дурачка, не в том смысле, как я юморил о здешних кибуцах, а эдакого кондового совкового колхозника. То ли кондовых колхозников в кибуцы не берут,

то ли кибуцы оказались недостаточно совковыми для МАксима, и неведомые силы занесли его в Нетивот.

Нетивот – это населенный пункт на границе с сектором Газа, выросший на месте лагеря для африканских репатриантов. В девяностые популяция удвоилось за счет волны обширной эмиграции из бывших советских республик, и Нетивот получил статус города. А потом его подмял под себя раввин по прозвищу “Рентген”, якобы обладающий даром диагностировать заболевания невооруженным глазом.

Первым делом раввин Рентген отгрохал пирамидальную гробницу своего отца, посмертно возведя его в целители и чудотворцы, и таким нехитрым образом осенил сам себя индуцированной святостью преемника династии праведников-врачевателей. Позже этот прохиндей приплел уж совсем неправдоподобную, зато никак не поддающуюся проверке, байку о деде и прадеде, известных еще в Марокко богоданным знахарским даром, и занялся шарлатанством на полную катушку. Слизал рабочие схемы с чего можно и с чего нельзя, не гнушаясь ни язычеством, ни идолопоклонством, возбраняемыми иудаизмом. Вовсю использовал амулеты, огненные обряды с экстатическими шаманскими плясками, паломничество к той самой отцовской гробнице и тому подобное.

В итоге этих попрыгушек образовалась секта, и раввин Рентген поставил дело на широкую коммерческую ногу. В продажу поступили индульгенции и заказные благословения. Оплата принималась в двух формах: одноразовая – наличкой – и в виде абонементов с подпиской на ежемесячные взносы. Купилась на это, как водится, беднота, наивно спешащая отдать последние гроши за призрак надежды.

Словом, католическая церковь средневековья отдыхает. Общедоступной банковской инфраструктуры тогда не существовало, и сложно было обувать простаков с таким изяществом и блеском. Подсадить неопитов на пожизненные взносы в отсутствие банковского постоянного платежного поручения уж никак бы не удалось.

Однако я снова отвлекся – типаж больно увлекательный. Но МАксима не тревожат ни этот местечковый оракул, ни его манера спекулировать на людском горе и отчаянии. В Нетивоте нашему селянину удалось воссоздать вокруг себя атмосферу застойной совдепии, и он укутался в нее, как в обтерханный, но привычный и родной ватник. Тепло, хорошо, и мухи не кусают. Он и сам – словно муха, попавшая между оконными створками. Муха, которая не понимает, что влипла. Пожужжит, пожужжит и шмяк греться на солнышке. И все прекрасно. Муха довольна, МАксим – тоже. Он иммигрировал на Святую Землю и обрел свой обетованный колхоз.

В общем, какими бы ветрами МАксима ни занесло в Нетивот – почему он там прижился, примерно ясно. Также ясно, что он этим фактом гордится. И гордится до такой степени, что над его рабочим столом красуется латунная табличка с выгравированной надписью “NASA[18 - NASA – НАСА – Национальное управление США по авионавигации и исследованию космического пространства.] Netivot”. Но зачем, будучи доктором наук, он мотается в Хайфу (через всю страну!) ради плохонькой должности инженера лаборатории? Непонятно. И уж совсем непонятно, отчего любой разговор никак не может обойтись без упоминания этого местечка. МАксим приплетает Нетивот ко всему, чему ни попадя, а в спорах пользуется им, как последним аргументом. Хотя и начинать он норовит именно со своего ненаглядного Нетивота.

Это было бы забавно, если бы колхозника постоянно не обуревали грандиозные идеи в духе полетов на Альфа Центавру. Безнадёжно утопические даже на фоне присущего научной среде прожектерства. Его идеи примечательны тем, что они не только никому не нужны, но и практически невыполнимы. Кроме того, МАксим не умеет думать внутри своей головы. Единственный модус его мышления – выплескивать неоформленные фантазии и затевать по их поводу нескончаемые споры, в которых будто бы должна рождаться истина. Однако МАксиму все никак не удастся разродиться. Зато схватки шумны и болезненны не только для него самого, но и для окружающих.

Шмуэль, не первый год знакомый с этим явлением, прозванным “НАСА Нетивот”, выслушивать колхозника напрямую не готов. И мы – аспиранты – служим

мембраной между профессором и полоумным МАксимом. Только когда МАксиму удастся пробиться через нас, его идеи достигают Шмуэля. Поэтому колхозник ежедневно и неустанно штурмует нашу комнату. Малейшая брешь в обороне – и пиши пропало. Начинается НАСА Нетивот.

В этом смысле я попал больше остальных. Не подозревая, во что ввязываюсь, я поначалу приветствовал его обращения за мелкими техническими советами. От меня не убудет, всегда рад. Но вскоре эти просьбы переросли в назойливые домогательства. Их учащающаяся периодичность, помноженная на свойственную МАксиму многословность – шутки-прибаутки вперемешку с рецептами напитков из чайных грибов, каш из топоров и, естественно, неперенных саг про Нетивот – вскоре приобрели устрашающие масштабы.

Сегодня МАксим подстерегает меня на каждом шагу. Стоит встать со стула или лишь оторваться от экрана, и он тут как тут:

– Минуточку-минуточку, только глянь.

– МАксим, я работаю, – вздыхаю я.

– Ну пожалуйста. Ну, на секундочку, – канючить он способен часами и без тени смущения. – Тебе что, жалко?

Мне-то не жалко... Тем более, на этот раз часть его планов на удивление выполняю. Надо только сменить подход, о чем я и втолковываю колхознику на первую неделю. Втолковывать-то втолковываю, но не могу же я между делом на коленке навалить его проект. Могу только подсказать. Но нет. МАксим новшества не приемлет и заявляет, что докажет мою неправоту и сделает по-своему.

Казалось бы, на этом он должен был от меня отстать и, уединившись, “бороться и искать, найти и не сдаваться...” и все вот это. Но снова – нет. Теперь МАксим дергает меня еще чаще. Он непрерывно отирается у порога нашей подсобки;

стоит на мгновение отвлечься, МАксим выскакивает из засады и набрасывается с вопросами, добиваясь, чтобы я опроверг сам себя, и все-таки нашел решение именно его способом.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Рабочая неделя в Израиле начинается в воскресенье и заканчивается в четверг.

2

Господин Редактор советует добавить в конце этого фрагмента некий “крючок” для зацепки и удержания читательского внимания, потому что в XXI веке у людей нет ни терпения, ни времени. В этом смысле Редактор, бесспорно, прав, однако чтение этого романа – дело добровольное.

3

Во время редактуры разразился спор о том, нужно ли напоминать, что Шмуэль – это имя научного руководителя, и что Шмуэль и профессор Басад – одно и то же

лицо. Господин Редактор считает необходимым напоминать и про имя, и про то, что баса́д – это “с Божьей помощью”, и именно поэтому научный руководитель прозван профессором Баса́дом.

4

Технион – Технологический институт Израиля.

5

Британский физик лорд Джон Рэлей в 1871 году установил, что интенсивность рассеяния света зависит от длины волны. Не будь рассеяния, небо выглядело бы днем точно так же, как и ночью, а солнце – ослепительно ярким белым пятном. Но из-за неоднородной плотности воздуха происходит рассеяние, и синий (коротковолновый) свет рассеивается гораздо сильнее других цветов и придает небу голубой оттенок.

6

Талмуд – основное собрание религиозно-этических положений иудаизма, возникшее вследствие канонизации и фиксации Устной Торы.

7

Ма кара?! (ивр.) – Че такое?!

8

Fuckin' shit (англ.) – гребаное дерьмо.

9

Кибуцы в своих истоках были сельскохозяйственными коммунами, характеризовавшимися общностью имущества и равенством в труде и потреблении.

10

Главой государства в Израиле де-факто является премьер-министр.

11

Все это, как вы, возможно, догадываетесь, затеял Господин Редактор.

12

В школах и ВУЗах Израиля используется 100-балльная система оценок.

13

Ханука – восьмидневный праздник в память об освобождении и очищении Храма.

14

Галаха – совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев.

15

Ханукия – ханукальный светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника.

16

Господин Редактор интересуется, зачем написано это предложение. Какова его смысловая нагрузка?

17

Сабрес – опунция. Это растение является одним из неофициальных символов Израиля и израильтян.

18

NASA – НАСА – Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Купить: https://telnovel.me/ross_yan/basad

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)